Раньше казалось, что если не напишешь по горячему рассказ или повестуху, то можешь попрощаться с ней навсегда. Дескать, всё надо сразу делать, а если промешкаешь—утечёт состояние как вода, не сможешь вернуться в него. Неумолимо изменится всё на земле, включая цвет воздуха, и если уже есть начало, то никак не приклеишь к нему серёдку—будет она инородной, не совпадёт по частоте кадра и плотности земной атмосферы. Поэтому—никогда не откладывай. А если отложил—забудь. Такими отложенными и неразрешившимися задумками усеян писательский путь. Они как отнорки на пути, как своротки в тайгу—вроде вот он заезд, а дальше тупик, развороченный гусеницами пятачок.

Историю, о которой идёт речь, я задумал больше десяти лет назад. Тогда сильно болела моя первая жена, у которой была другая семья в другом городе. Но мы продолжали общаться, и я рассказывал ей о своих планах, и о планах написать повесть «Собачья жизнь». Дальше планов дело не шло, хотя кое-какие намётки написаны были, совсем короткие. Но при телефонном разговоре или встрече Наташа всегда спрашивала: «—Ну как, ты написал „Собачек?“». Такая даже игра-не-игра образовалась, и была понятно, что надо написать и что Наташу эта история поддержала бы, заняла бы. Э-э-х. «Собачек» я тогда так и не написал.

Годы спустя я несколько раз возвращался мыслью к этому повествованию, искал те самые намётки, которые наполовину потерялись из-за поломок компьютеров, и даже пытался написать план, но так ничего путнего и не высидел. Чего-то не хватало внутри самого себя. А тут после труднейших «Полёта совы» и «Фарта», полных социально-мировоззренческого упора, поиска, созидания на грани невозможного, вдруг всплыли «Собачки» и… В общем, самое главное дерзнуть. И вот это вот решение дерзнуть, это крепчание решения, превращение из ничего в нечто—самое удивительное и поучительное в жизни, потому что есть тут и выбор, и чувство развилки… А когда дело сделано, то оторопь берёт: а вдруг не рискнул бы? Это как превращение помысла о будущем ребёнке в новую жизнь. В рождение. Поэтому от плана до его воплощения—пропасть, но ты хозяин броска. Значит, ещё как можно спустя годы возвращаться к былым задумкам. Входить в ту же самую реку, в которой, конечно же, уже другая вода, да такая густая, что становится возможным невозможное ранее.

Можно подумать, что такое подскребание мучицы по прежним ларям—от бессилия, от отсутствия мыслей, а можно наоборот—что надо замысел до конца доводить, нельзя, чтоб валялся невыполненным. Но в любом случае—история полезная прежде всего для самого себя. Испытав такой поворот и отнесясь к нему как к чему-то исключительному и случайному, я на всякий случай снова прошёл по сусекам и, что самое удивительное, снова наскрёб.

Скребите, подчищайте, ведь жизнь быстротечна и все под Богом ходим.

Название получилось другое, многое добавилось, никакого, конечно, Солнышка изначально не было, да и затравочным элементом стал всё тот же социальный пафос: хотелось показать отношения гражданина и государя, с одной стороны, и положение России после буржуазного переворота конца двадцатого века—с другой. Её шаткую и двусмысленную позицию, когда за уступки и подачки мы изменяли своим традициям, вынужденно и унизительно приобщались ко всяким «декларациям прав», сворачивали оборонительное вооружение на стратегических рубежах и в собственных душах и прочее, и прочее. Измена продолжается, в русских школах творятся англосаксонские шабаши, города пестрят иноязычными вывесками, в московском метро остановки объявляются на русском и на английском языках. Продолжается травля России Западом и травля русского искусства внутри России, когда с экрана телевизора на всю страну заявляется, что наша песня слаба и плоха, поэтому вокальные данные можно проявить только на английской музыке.

Леший с имя́! У нас в тайге, как молились старообрядцы по старым книгам, так и молятся, как живёт глухарь на всё той же тундрочке, так и живёт, не помышляя о перелётах туда, где потеплей и хвоя послаще. Как промышляли мужики соболя, так и промышляют. И как верны были собаки своему хозяину и своему промысловому призванию—так верными и остаются. И никто имя́ не указ.

Светлой памяти
Наталии Валерьевны Моралёвой
посвящается

1. Рыбник

Уму не постижимо! Первая осень в тайге, да ещё с братом…

Как сейчас помню предотъездные дни: Старшой, избегался-иссобирался до такой низкой и сизой облачности в лице, что даже монументальный Таган, серый кобель западно-сибирской лайки, сидя на цепи и сдерживая предпромысловую дрожь, несолидно поскуливал на метания хозяина со шлангами и канистрами.

Облачность на лице Старшого грозила колючей крупкой. Он пробежал к тракторёнку, жгуче дыхнув на меня черемшой, а дальше всё походило на какую-то панику, запой… громождение ящиков, канистр, мешков из так называемой «стекляшки», мягкой пластиковой плетёнки. Плоская, как лапша, нитка, если порвётся и расплетётся, то необыкновенно противно цепляется за углы ящиков, железяки и оказывается неожиданно крепкой, пружинящей.

В телеге такой мешок, туго и бугристо набитый капканами, навалился на железную печку, свежесваренную, с зубастыми необтёртыми углами, с синей окалиной и заусенцами. Мешок зацепился, и когда на берегу его рванул Дяа Стас, здоровенный старшовский шуряк, то выдралась дыра с мочалом ниток. Вывалился капкан и волочился на привязчивой жилине. Мой брат в ней запутался, а Старшой с грозовой синью в очах рыкнул: «Помощнички!» — и тут же улыбнулся, но как-то постепенно, мутно-солнечно, начиная с глаз. Он помог брату выпутаться, а капкан бросил в лодку, но тот не долетел и, гулко ударив в борт, упал в воду. Старшой его достал и положил на бортовую доску-протопчину. Синеватый чуть в копоть и чуждо пахнущий фабрикой, он холодно горел в осеннем серебряном свете. На сальной от смазки тарелочке кругло лежали капли. Сомкнутые дуги молчали.

Всё наконец оказалось загруженным в деревянную длиннющую лодку, и мы с братом, не веря счастью, уже сидели в носу среди груза, я на железной печке, а брат на сундуке, и восторженно вдыхали пряный осенний воздух. Десятками запахов говорили эти берега, травяной прелью, полынной и тальниковой горечью. Когда лодку догонял ветер, нас обдавало масляной гарью мотора, а из сундука несовместимо сочился запах рыбного пирога.

Едва Старшой оказался за румпелем, лицо его окончательно разъя́снилось, и последнее рваное облачко раздражения уже не делало погоды: сухое и крепкое лицо ровно и одухотворённо горело осенним солнцем.

В перекате на меляке буквально под бортом торопливо занырнул-исчез крохаль[1]. Вытянув шею, я увидел его совсем рядом и поразился, как, помещённый в тонкий пласт воды, он, плоско изменившийся, уверенно и тягуче-гибко выгребал крыльями, и как, преображённые изумрудной водой, ярко горели на них белые зеркальца.

Таган сидел в самом носу, нервно и величественно вдыхая ветер. Мы ехали в каком-то тихом восторге, и только в узком и скалистом месте, где начался порог с пенным косым валом, стало неуютно и захотелось слиться с лодкой, сравняться с бортами, обратиться в какой-нибудь плоский бак или рулон рубероида. Брат нарочито громко зарассуждал об осенних запахах, которые богаче весенних именно из-за «этой перепрелости», а потом вдруг спросил, нравится ли мне Николь. Я пожал плечами. Во-первых, она мне совершенно не нравилась, а во-вторых, вся эта Николь нисколь не шла окружающей обстановке. Особенно с её напружиненными кудрями и с идиотическим именем.

На третий день к вечеру мы были на месте. Часть груза предполагалось увезти вверх, а часть оставить здесь — на базе, состоящей из просторной избы, бани и снегоходного гаража. Особенно впечатлил нас ла́баз для рыбы и прочей добычи на четырёх ногах. Ноги его были обёрнуты полиэтиленом.

— Что б мыши не залезли! — догадался я. И мы с братом хохотали, представляя, как смешно срываются мыши, перебирая лапками и пища от возмущения.

Молодость есть молодость. Старшой сосредоточено подсчитывал, сколько батареек и пулек пойдёт в какую избушку, и помощи от нас не требовал: подозреваю, даже хотел, чтобы мы не мешались. А мы и не лезли: привыкшие к плоскому Енисею, мы никак не могли оторвать глаз от волнистых гор, от реки, какой-то необыкновенно ладной, совершенной в каменных своих стенах…

Уже стемнело. Почернели берега. Река шумела с пространной задумчивой мощью, каждый камень, каждый скальный обломыш давал пенный завиток течения, и шум складывался из сотен таких завитков и стоял сплошь. Мы прогулялись вверх до ручья и, развернувшись, остановились. Старшой копался у груза. Мелькал льдисто-голубой налобный фонарь, и в нарождающемся туманчике мутно-дымно продлялся, клубисто креп и длиннел его луч. Старшой что-то доставал, перекладывал. Потом вдруг побежал вниз к лодке, и оттуда остро пахнуло бензином. Видно, поставил наливаться бензин для генератора, и замешкался, разбирая груз, а он перелился. Потом ушёл в избушку. Всё это выяснилось, когда мы подошли. Картина была

1. *Крохаль* — порода широко распространённой в таёжных реках рыбоядной утки.

следующей: край брезента откинут с сундука. А рядом на бочке картонный ящик с рыбником.
— Опа… — поёжившись, сказал брат. — Ну чо. Всё вроде сделали. Доехали. Да Серый?
— Ну я думаю, да…
— Эх, давно ли я так вот мечтал… С братом… Слушай, — он с силой втянул воздух, — ммм… Я прямо *чувствую* эту осень. Знаешь, у некоторых вечно… «надо втянуться, присмотреться…». Будто боятся, что не сдюжат. А я уже знаю — сдюжу! Потому что моё!
— Утром точно заморозок будет! Звёзды такие… Прямо мороз по коже…
— Ну. Праздник. Знаешь… Эта даль, эти запахи, и… этот пирожи́ще. И звёзды… Пирог и звёзды! Угощайся, друга.
— По-моему нельма.
— Ну. Обалденный. Всё-таки Тётка Светлана первоклассно стряпает.
— Ну. Ць-ць-ць…
— Тут ещё со стерлядкой!
— Да ты чо? Давай его сюда.
— Не жрамши с утра.
— Да понятно. Старшой-то перехватил, поди.
— И не раз. Он в лодке из термоса пил. Ну, давай!
— И из фляжки тоже, хэ-хэ. Так что ни бэ. Не обидит себя. Хрящики классные.

Совсем стемнело, подстыло, и тянул ночной хиусок из горного ручья. Дым от костра и избушки совсем положило на берег, и он смешался с туманом. Пахло теплом, жильём и речным берегом. Отяжелелые от впечатлений и ужина, мы с братом не спеша поднялись к избушке, чувствуя как подбирается к телу молодой сон.

Раннее сонно-тёмное утро выдернуло меня из будки мощным рывком Старшовой руки и громовым окриком: «Ну и как рыбничек?» Я тут же был посажен на цепочку и одновременно отлуплен. Братец было ломанулся наутёк, но Старшой настолько грозно вскричал: «Рыжик, падла, стоять!» что тот упал как подстреленный и пополз, прижав уши. «Будешь по ящикам шариться, козёл?! Будешь?!» Рыжика подцепили, и он тут же, кругло поджав задок и опустив хвост промеж ног, юркнул в кутух.

Бил Старшой больно, но грамотно — толстым прутом по окорочкам. Ляжки горели. Я посмотрел на Тагана. Тот очень тихо сидел, высунув нос из будки и почти слившись и с ней, и с местностью, а когда Старшой, словно нам в укор, отпустил его, невозмутимой трусцой и будто по делу отбежал в лес. Таган умудрялся сохранять невозмутимость в любых обстоятельствах и даже в случае наказания умел выражать своим видом полную правоту и ещё и выставлять хозяина в несдержанном и дёрганом виде.

Теперешняя невозмутимость Тагана была абсолютно фальшивой, ибо означала, что мы негодяи, а он молодец и ни *в жись* не съел бы рыбник, хотя вся его заслуга заключалась лишь в том, что он с вечера был посажен на цепь, чтоб не удрал с утра шариться по тайге и нас не увёл. И я *абсолютно* уверен, что окажись он на берегу, то моментально отобрал бы у нас пирог, сожрал его, а виноватыми оказались бы мы, семимесячные щенки-первоосёнки. А он бы царственно сидел в кутухе, и нам бы его ставили в пример.

2. Капканы на нас

Хочу теперь остановиться на таком важнейшем, краеугольном явлении в собачьей жизни, как *постановка капканов на собак*. Именно так и никак иначе. Беду лучше предупредить. Лучше небольшая неприятность сразу, чем полная непоправимость потом.

Вечером Старшой нас отвязал и как-то особенно приветно-заманисто и демонстративно-наглядно стал вдруг ставить капкан под кедро́й: сделал из колышков загородку, оставив узкую тропку для алчущего. Поставил капкашек, ещё один, ещё — а к дереву в глубь сооружения положил настолько великолепный кусок рябчиного задка, что я неуправляемо облизнулся. Старшой таинственно приговаривал, мол, видишь, нельзя-я-я сюда, и вроде как всё-таки: «ну, попробуй-попробуй, ну»? Потом то же самое сделал у ёлки в прошлогодней такой же печурке, и я увидел, как сглотнул Рыжик, глядя на вторую половинку задка. Таган не смотрел и был непроницаем.

Покормили нас как-то подозрительно неизобильно, хотя каша была хороша: овсянка с отличной варёной щукой, с разлившимся нутряным жиром и с хайрюзовыми головами. Думаю, Старшой сам бы её с удовольствием попробовал. Кстати, однажды он сварил себе и нам по одинаковой кастрюльке рыбы и запутался, где чьё. Кончилась крупа для заправки «собачьего»: где-то мы встряли весной со Старшим, на каком-то острове, ещё маленькие… С мыслями-воспоминаниями о том походе я и заснул. А проснулся ночью от обострившегося запаха рябчиной гузки. Меня буквально прошило радостным открытием: бывает, мы себе напридумываем на ровном месте запретов, а они… Вот давай, Серый, рассудим: ведь нас наказали за то, что мы сбросили с бочки и открыли ящик. Он был упакованный, и это означало, что не про нашу честь. Согласен полностью. За то мы и получили. По первое число. Тут другая история: рябчик лежит *на полу*, как говорят охотники, и без упаковки, а значит, является предметом общего пользования, как бы выразился грамотный Рыжик. От этого открытия… прямо темнота расступилась. Надо тихо-тихо, чтоб не разбудить Рыжика… Почему-то в таких случаях не хочется, чтобы видели… Не потому что затеваешь недоброе, а потому что опасаешься припозориться, если неправильно

управишься. Только поэтому. В общем, я осторожно подошёл к печурке и наступил…

Я думал, что без конца упоминаемые мною в этой истории капканы—это такие же обожаемые Старши́м железяки, как пилы, цепи, ключи, винты-болты и прочие в кавычках друзья человека, а значит, и наши… И тому что капканы сейчас как-то слишком плоско растопырены—не придавал ни малейшего значения. Я наступил на самый краешек дужки, и капкан наклонился, лапа с него соскочила, и он подпрыгнул и хлопнул дужками так, что искра́ вылетела и запахло кремнём (знаю этот запах: видел, как Старшой показывал сыну Никитке такую искру́). Я отскочил как ужаленный, не ожидав такого выпада—эффектного, смешного и бессильного одновременно: ясно, что капкан мне ничего не сделает—какого размера я и какой он?! Только пугнёт, нашумит. И я замер, прислушиваясь, не разбудил ли Рыжика или, не ровён час, Тагана. Было тихо, и я, осторожно ступая, вернулся в свой кутух. Но… сна не было. Снова попытался вспомнить, как чуть не перепутали варёную щуку… Таган рассказывал такую же историю, только с мясом. Два одинаковых котла… Тоже не было крупы, где-то их льдом заперло… «Льдом-льдом»…—передразнил я сам себя. Какой лёд, и какой сон, когда у тебя все мысли у этого капкана. Ты—собака! Не сдаваться. Трудное начало—признак удачного продолжения. Не впервой! Главное—не наступать на край капкана, чтоб он не скособочился и не склацал на все Хорогочи.

Я снова подошёл к печурке и наступил точно на середину следующего капкана—на его ровную гладкую тарелочку. Острейшая боль обожгла лапу, но страшнее боли была неожиданность. Оглушительный визг вырвался из моей пасти. Я попытался сбросить капкан, попытался бежать, но держало крепко—капкан был привязан к колышку. Попытался грызть—не ожидал, что металл такой мерзкий, холодный и кислый, хотя Старшой и выварил капкан в пихте́… В отчаянии укусил лапу! Почему капкан не отпускает? Страшней всего непонятное! Ладно бы тяпнул и отпустил. У нас-то ведь удар-укус. По крайней мере первый, предупрежающий. А этот держит. И чуть дёрнешься—такая боль, что в глазах мутнеет.

Из избушки не спеша вышел Старшой с налобным мертвенным фонариком. Несмотря на мои крики о помощи, которые я показательно усилил при его появлении, он не торопился и даже замешкался под навесом избушки. Зная пристрастие Старшого к механизмам, я решил, что он ищет какое-то приспособление, какой-нибудь очередной «капканный ключ-освободитель на две-тысячи-пятьсот-четыре на семьсот семь хромованадий». Но как рухнуло сердце, когда он подошёл, и я увидел в его руке знакомый прут. Самое дикое, что Старшой присел на корточки рядом со мной и ещё несколько минут, которые показались вечностью, объяснял, что нельзя-я-я так делать, что, мол, вот посиди, посиди и что это лучше, чем пойти на варежки… Так и сказал. На варежки. Потом отстегал меня и сжал пружину крепкой кистью. Подобрав лапу, я пристыжённо унёсся в кутух.

Заснуть не мог часа полтора, очень болела лапа. Наконец задремал, но тут же проснулся от визга. Визг так же длился минут пять, пока не подошёл Старшой, и всё не повторилось. Я не выдержал и, опустив, хвост убежал в лес. Вернулся через часок, когда рассвело и Старшой разбирал сеть на вешала́х… Накрапывал дождь. Собаки на редкость непамятозлобные, и пока я гулял, настроение поправилось. Если час назад поведение Старшого и осознанная тягучка с моим освобождением казались верхом предательства, то теперь я обрадованно завилял хвостом. «Что, капканщик, набегался?»,—полугрозно сказал Старшой, и я уткнулся ему в колени. «Ну всё-всё»—говорил Старшой справедливым голосом. А потом с улыбкой… с облегчением: «Ничо, всё нормально будет… заживё-ё-ёт лапа… заживё-ё-ёт».

Вот тут-то я и проснулся по-настоящему от щелчка и лёгкого взвизга. В воздухе так же пахло кремнём от капкашка, который своротил и расстворожил Рыжик, смущённо скрывшийся в соседнем кутухе. Я уже не спал окончательно, но разговаривать не хотелось, и я притворился спящим. Подозреваю, что Рыжик делал то же самое. Сна не стало вовсе. Не потому, что мне хотелось услышать, как попадётся Рыжик. А просто не было. С огромным трудом я нагнал на себя полудрёму и вдруг услышал шевеление, трусцу по утоптаной земле вокруг избушки и удаляющийся шорох по мху, прихваченному ночным морозцем. Чуть светало, и я увидел, как Рыжик осторожно, как-то особенно мелко рыся, приблизился к печурке и аккуратно поставил в неё лапу, потом, видимо, другую (ещё было плохо видно), а потом просунулся внутрь и высунулся обратно с чем-то в зубах, а потом оглянулся и, быстро отбежав, повалился на мох, и раздалось аккуратное чавканье.

Вскоре проснулся Старшой и первым делом заглянув во вторую печурку, процедил грубое слово, подошёл в Рыжику, проговорил: «Л-л-ладно. Я те устрою. Суконец». Меня порадовало, что он правильно определил нарушителя и не подумал, что это я́ второй раз полез: доверие. Потом Старшой положил приваду и снова всё насторожил.

Вечером Старшой наставил ещё кучу капканов, присыпал пером и положил очень пахучей привады. Ночью раздался оглушительный перещёлк капканов, топот Старшого и звуки погони. И истошный визг Рыжика. Я от греха отбежал на бережок.

3. Клятва

Я в вере не силён, но знаю твёрдо — у картин тоже есть душа. Об одной из таких картин расскажу.

Рыжик так и не попался. Тогда Старшой взъярился, схватил Рыжего в охапку, притащил к печурке, ткнул лапой в капкан и оставил сидеть орущего. Я, по обыкновению, удалился на бережок.

Потом мы довольно быстро развезли груз по береговым избушкам и вернулись на базу — лили дожди. Ни зверя, ни птицы мы не видели. Единственное сто́ящее и поучительное происшествие называлось «банки с повидлом». Точнее, «разбитые банки с повидлом». Размок картонный ящик, и Старшой при разгрузке разбил несколько стеклянных банок. Как сейчас помню — две с повидлом: яблочным и сливовым. Одна с томатной пастой. И одна с кабачковой икрой. Икра казалось беззащитно-бледной в осеннем стальном свете… А осколки с зеленоватыми гранями — особенно жестокими и досадными…

Мы с Рыжиком стояли рядом, катастрофически не зная, что делать с этим нелепым месивом. Таган сказал очень уверенно:

— Да спокойно можно ись. Ничо не будет. Вообще не обрежешься. Смотрите: мастер-класс. Короткий ход языка. Вот так вот. И вся недолга. Хорошее повидло, кстати. Вот так вот… Р-р-рэз, р-р-рэз…

— Кхе-кхе… Дядя Таган… Вы это… Не увле… — пролепетал Рыжик, — разрешите отработать приём?

— А, — с недоумением прервался Таган, — ну давайте…

Оказалось, можно абсолютно не рискуя поранить язык, съесть всё повидло, просто очень аккуратно облизав каждый осколочек. И пасту тоже. Да. И икру. Хорошо, когда с юности везёт с наставником.

Настала ясная погода, и в первый же утренник Старшой повёз нас на за птицей. Глухарь по осени вылетает на бережок добрать мелких камешков. В его желудке они перетирают кедровую хвою.

Раз уж зашло про желудки: до чего красиво устроено всё живое!

Люблю смотреть, как Старшой разделывает глухаря…

Прошу запомнить эту фразу! Она покажет, насколько причудливо преломляется слово собачье по отношению к человечьему. Так вот, люблю смотреть, как он работает — руки двигаются быстро и необыкновенно точно, и, кажется, всё — и печёнка, и сердце, и кишочки — само разлетается по кучкам. А посуда — чашки, тазы, вроде такое женское, кухонное, а, попадая в рабочие руки, будто мужает. Старшой топориком на чурке отрубает крылья, и мягкое пуховое перо остаётся на изрубленной иссечённой плоскости вмятым, влипшим в тонкую расселинку от лезвия. Вот по перу разрезает крепкую грудь, раздвигает пупырчатую шкуру, и лилово открываются две могучие мышцы-пластины в жёлтой обкладке жира. Вот в несколько движений — шкура с пером снята, и как ложкой вычерпнут пятернёй плотно уложенный, фиолетовый ком кишочков… И вот Старшой берёт и разрезает тугой, тёмно-красный желудок — жгутно-утянутый мясной узел с перевязью белой жилы, разрезает его по самой жильной скрутке, и нож, углубясь, нет-нет да и чиркнет сухо по камешкам. Камешки — белый прозрачный кварц, меленькие, как рисинки, овальненькие с вмятинками, точечками. Лежат в кедровой хвое, чудно настриженной глухариным клювом. Стенки желудка ребристые, в мелкую насечку… (вынужден применить сравнение): как кошачье нёбо… (куда деваться — правда превыше политики!) И всё это круговое нёбо — лилово-малиновое от ягодного сока и будто бархатное. Так что… влажный полупрозрачный кварц. Малиновый бархат. Зелень хвои…

«А ну нельзя смотреть! Давай чеши отсюда. Кому говорю! Но!»

Собак гонят с кухни, от разделочных столов и прочих важнейших мест с роковой какой-то силой… Голодные глаза никому не нравятся. «Подбери слюни!» — лучшая награда за такие наблюдения.

На утренники собак и берут, и не берут. Не берут, чтоб не орали из лодки на всю реку на глухарей. Правда, привязанные у избушки и оставленные они ещё пуще орут, и тишайшим утром изводит охотника хоровой отчаянный лай, слитый эхом в одну запевную ноту. В лодке ли, у избушки — собак привязывают часто. Цепочек не напасёшься, поэтому привязка — обычная капроновая верёвка с петлёй. Петлю натягивают на наши морды так, что те становятся особенно клиновидными, кулькообразными, а глаза — раскосыми, чёрные же углы рта оттягиваются необыкновенно тонко и глупо. Уши прижимаются, и получается комично-китайское, лисье выражение, у Рыжика особенно смешное: у него крепкие бакенбарды, стоящие торчком — а без них голова совсем узкая и маленькая.

Привязки так и лежат в лодке и у будок-собачниц, или, по-нашему, кутухов. Я специально остановился на привязках, потому что к ним привязано, простите за каламбур, одно неотрывное от собачьей жизни понятие — *отъедание*. Но не в кормовом плане — не будьте наивными: это нам не грозит.

Итак, стекляннейшее утро после наизвёзднейшей ночи. Иней по рыжим листвягам, по берегам-причалам из сыпучего тёмно-розового камня. Потом, когда выйдет солнце, седина оплавится. Листвяги оплачутся, и красные причалы станут малиново-мокрыми.

Но вот Старшой позвал, и мы, сшибая друг друга и Старшого, снарядами впрыгнули в лодку, да так радостно, что я даже выпрыгнул обратно на берег

и снова запрыгнул в лодку, за что был обруган и получил с берега пинка. Пинок был бесполезный ввиду моей скорости, так что ногу Старшой выбросил вхолостую и еле удержал равновесие. Всё равно как заряжающий пнул бы снаряд. Камни были заледенелые, и Старшой чуть не упал, как-то неудачно извернулся, и у него вступило в спину. За что я был обруган дополнительно. Снаряд—это огромная пуля, для справки. Матчасть знам.

Таган решил и здесь показать мастер-класс, успев пробежаться по берегу и вернуться секунда в секунду с нашим отплытием. Впрыгнул он виртуознейше—движение не описать, но всё в нём: мощь и грация, мягкий тугой топот, изгиб тела, поджатие задних лап в момент пролетания над лодочным бортом.

Нас прицепили кульково на верёвки, и мы двинулись. Прежде на носу царил Таган, а теперь туда определили меня. Чтобы лучше видеть, слышать и обонять, я старался залезть подальше-повыше, пытаясь лапами удержаться на наклонном брусе носовила[2], синем от изморози и скользком. Привставал, и дрожали поджилки на задних лапах, а мне всё казалось, что надо ещё выше вдвинуться-ввинтится в осенний воздух. Старшой сбавлял газ и сдавленно, чтоб не шуметь, рычал: «Ты чо там мостисся? Чо мостисся!» И грозил шестом, но дотянуться не мог. Я пуще вытягивался и перебирал дрожащими лапами по носовилу, и чем больше перебирал, тем выше возносился над упругой рекой. Старшой сделал резкое движение румпелем, лодка рысканула, лапы, уже протопившие пятно на дереве, соскользнули, и я полетел в воду. Вместо того чтобы остановиться и вытащить, Старшой продолжал невозмутимо волочь меня вверх по шивёрке. Я бултыхался, хрипел, и когда казалось: всё—задушил, он остановился и вытащил меня—жалко похудевшего, трясущегося. Облепленного мокрой шерстью, холодящей, липнущей, тяжеленной… «Ну чо? Понял, как на носу сидеть!» А я чо понял? Мне б отряхнуться! И вот—круговой фонтан искрящейся пыли во все стороны! И мокрый Старшой машет руками: «Ты, дождевальное устройство, я те чо—грядка!» А смысл науки таков: привычка мститься на носу может стоить собаке жизни—в серьёзном пороге её уже не выудить: хозяин не бросит румпель. А болтанка такая, что сорвёшься в два счёта.

Поворот открыл первозданнейшую длинную гору с отвесными столбами-перьями и щёточкой редколесья поверху. Всходило солнце и налило таким густым и ярким светом посеребрённые лиственницы, что и в душе всё зазолотилось, а ещё говорят, у собак чёрно-белое зренье! Рыжик засиял вовсе медно, и вдруг я увидел, как он… Подбираю слово: мелко, смешно, по-разгильдяйски, нецеленоправленно, неосновательно. Всё не то… Будто шутя. Будто между делом чавкая, жамкая, кусая… Комично пыжа голову книзу… Будто пытаясь укусить себя за шею и смешно разевая рот, мусолит верёвку-привязку. И уже почти переел её. В эту же секунду раздался окрик Старшого, совмещённый с ударом шеста по Рыжиковой спине. Для справки: шест—универсальный инструмент управления судами и собаками.

Несмотря на алмазнейший утренник, никаких событий, кроме моего купания и отъедания Рыжика, не произошло. Видно, утренник был чересчур образцовым, и это смутило глухариное руководство. Возможно, показательный блеск выглядел слишком внешним, искусственным и направленным на внешний эффект. А может птицу смутил небольшой ветерок. Старшой не унывал и, пойдя назад самосплавом, кидал спиннинг. Рыжик очень смешно наклонял голову и крутил ей, глядя на цветные камни, проносящиеся под водой, и насмешил Старшого, взлаяв на ленка, который неожиданно высоко выпрыгнул, когда его тащили.

Окончательно пригрело. Река вдруг оглубела и расширилась перед скальным сужением. Старшой достал из рюкзачка термос, копчёного сига в газете. Мы оживились.

— Чо занюхтили?

Таган отвернулся и еле заметно сглотнул.

Рыжик тоже отвернулся, но мгновенно голова его возвратилась, как на резинке:

— Слюни подбери!—рыкнул Старшой и, увидев большой взмыр под берегом, схватил спиннинг и начал бесконечное метание блесны, тупее чего может быть только высмотр сетей.

Мы совсем разомлели на солнце, и Таган даже несколько раз ловил клонящуюся свою голову, а потом положил её на лавку и замер, прикрыв глаза. Только пошевеливались в разные стороны уши и ходили ходуном резные клапанки́ на мокром чёрном носе. Несильный порыв ветра сдул с лавки газету, и она упала под нос Рыжику. Рыжик её понюхал и вдруг, замерев над ней, задекламировал:

— Хм… Во-ло… кон-ный интернет…

— На волах что ль?—проворчал, не открывая глаз, Таган. Это было хоть какое-то развлечение.

— На ко́нях,—в тон ему бросил и я, очень уж хотелось мне заслужить уважение.

— Узи у «Зины» недорого.

— Чего?—сонно спросил Таган.

— О! Вот это интересно!—взбодрился Рыжик:—Слушайте. Комплект обуви для собак. Четыре ботинка. Предназначен для всех сезонов и любых поверхностéй. Использованы технологии, и-дентичные производству высококачественной трековой спортивной обуви для человека. Незаменимы

2. *Носовило*—так сибирские лодочные мастера называют форштевнь. Шпангоуты именуются упругами, а центральная донная доска—донницей. Сказолюбивый пёс сидел на плоскости носовила, обращённой внутрь лодки.

для ездовых и тянущих пород собак, так как имеют манжеты с застёжкою, надёжно фиксирующие обувь на лапах. Подошвы из известных патентованных материалов «грибтрекс»…

— Из грибов что ль делают? — сострил я.

— Да лан тут колхоз ломать. Наверняка хорошая штука. Мне Николь рассказывала. Короче! Не проскакивают и надёжно защищают от наста, льда, веток и острых камней. Делают процесс переобувания комфортным. Конические манжеты надёжно держат обувь на лапе.

— Швами ещё хуже натрёшь! — пробурчал я.

— Незаменимы, когда есть породный боковой коготь.

— Прибылой палец что ль? — Таган презрительно фыркнул.

— Наверно.

— Дак его, наоборот, удаляют. А то лапу порвёшь лоскутом… И — мяу. Совсем охренели… Нормальное почитай чо-нибудь.

— Между прочим, в Голландии… коготок у собаки не дадут без её согласия состричь! Кх-кхе… Так вот… Они, ну ботинки эти, также пригодятся, — мне казалось, что Рыжик даже поддразнивает Тагана и что он зря это делает, — они также пригодятся для повышения мобильности… пожилых собак (Рыжик быстро глянул на Тагана) и собак с проблемными лапами, — и прочитал с особенным выражением. — Яркая со светоотражающими вставками обувь делает вашу собаку нарядной и заметной в любое время суток.

— На хрена заметной?! — не поверил я.

— Охлаждающий инно… вационный жилет двойного действия помогает собаке сохранить оптимальную температуру тела при любой температуре окружающей среды… Достаточно смочить жилет водой, отжать и одеть на собаку…

— «Надеть» вообще-то по-русски — сказал я.

— Задницу им бы отжать! — поддержал Таган.

— Рюкзак для собак «Полисад-пак» с карманами для двух бутылок воды…

— Прекрати! — взвизгнул я.

— Да вы чо?! — буркнул Старшой.

— Каждой собаке, — заходился от восторга Рыжик, — после прогулки и прочей активной деятельности нужен отдых и местечко, где никто ей не мешает предаваться сладким снам и воспоминаниям, где можно удобно вытянуть уставшие лапы или, наоборот, уютно свернуться клубком. Предлагаем потрясающий лежак для ваших питомцев! А чо — нормально! Туалет для питомцев… — вскричал Рыжик, — представляет собой эстетическое приспособление… с выдвижным ящиком и лопаткой в комплекте…

— Их бы самих этой лопаткой… по комплекту… — ещё ниже проворчал Таган и закрыл глаза…

— Легко переносится благодаря улучшенной декоративной ручке. Теперь туалет не надо прятать в ванной. Его можно размещать в любом месте, и он везде будет вызывать восхищение своим удобством, красотой и функциональностью. А уж как котя будет рад! У него будет свой укромный уголок, скрытый от посторонних взгля…

— Ай-яй-яяяяй! — закричал Рыжик, потому что Таган, молниеносно хватанул Рыжика за окорок, улёгся, возмущённо ворча:

— Т-те устрою лежак…

Рыжик, пряча глаза, скулил.

— Одурел, старый? — рявкнул Старшой на Тагана, и тот втянул голову, зажмурил и плоско вжал глаза. Старшой погладил Рыжика, который беспомощно перевернулся на спину и стал лизать Старшому руку. Видна была выступающая грудина и два завитка шерсти на уровне передних лап — на границе рыжего и бежевого. И передние лапы — сложенные углами и болтающиеся. А Старшой говорил образцово-воспитательным низким голосом.

— Рыжик. Ну Ры-ыжик. Ну ла-а-адно, тебе ла-а-адно.

Приближались пороги, и Старшой спустил их на моторе, а ближе к избушке стащил с наших шей петли. Если *туда* петля надевалась «по течению», смешно уменьшая, удлинняя и косоглазя голову, то теперь, когда петлю протаскивали против шерсти, то мешали уши и шкура собиралась складками и комично давила на лоб, на глаза. Рыжик топырился и только натягивал петлю, затрудняя освобождение.

При подъезде к берегу мы отработали «выпрыг с носа» — важный элемент пилотирования, вызывающий у начинающих собак массу нареканий. Река наша горная, мелкая и особенно каменистая у берега. Старшому надо быстро причалить в точное место, заглушить и поднять мотор и, перебравшись на нос, выпрыгнув, удержать с берега лодку. Меж двух камней и целил Старшой. Мы заходились дрожью на носу и, засидевшиеся, мечтающие пронестись по берегу, изготовились к прыжку. Когда уже было рядом — сиганули, оттолкнувшись от лодки и сломав ей курс так, что она наехала на камень, а на нас обрушился целый камнепад эпитетов.

Ночью я снова влетел в капкан, а Рыжик снова ухитрился безнаказанно сожрать приваду. Он запустил[3] два капкана, сдвинув их вбок лапой и не то стряся, не то как-то ещё расстороживъ. «Нда… — сказал Старшой с задумчивым холодком. — А я смотрю, ты умный… Не зна-а-ю…»

Следующее утро выдалось седым, хмурым с промозглинкой и со сквозной какой-то серебряностью… В первом же повороте на длинном галечнике гнутыми головешками сидели глухари,

……

3. *Запустить* — закрыть, захлопнуть. Более широко — привести в нерабочее состояние. Как корова в запуске закрывает подачу молока.

штук семь. Они были настолько замершими и непохожими на живых существ, что когда чёрные, медленно покачиваясь и вертикально задрав головы, пошли к траве, то их зачаровывающая медлительность буквально разорвала наши глотки восторженно-возмущённым лаем. Пахло от них невозможно — почему-то печёнкой, переваренной хвоей и какой-то кислинкой! Старшой выпустил нас, и мы, подняв брызги, рванули на галечник. Глухари взлетели и, рассевшись на прибрежные листвягú, замерли чёрными почками.

…Боюсь, не описать того *чувства дела*, которое объяло меня с головой, едва я облаял первого в жизни глухаря, и которое объяснило моё предназначение, одарив проблеском откровения, речь о котором впереди…

При всём азарте я шкурой ощущал, как внимательно смотрит Старшой на мои движения, как присутствует, оценивает, осознаёт происходящее, подправляет негромким словом, и что-то сам себе помечает. Я понял, что мы — очень важное звено, связывающее Старшого и его семью с окружающей нас огромной тайгой. Что вместе мы представляем необъятный организм, многократно превышающий в размерах Старшого и состоящий со Старшим в странных и старинных отношениях. Будто шевельнулись какие-то ваги, жердины мощнейшие между глухарём и камешком, Старшим и мной, мной и глухарём. Когда я думаю об этих вагах, сизых гудящих сушинах, меня аж мутить начинает, и что-то во мне защитно сбивается, ограждая от лишнего знания, от которого я замру, окаменею, иль вовсе на куски разлетится моя бедная собачья голова.

О существовании этих длинных и гудких сил, простирающихся во все стороны тайги, реки и неба, говорил особенный, подправляющий и одобряющий вид Старшого. Так же он шёл с неводом, так же оглядывал возведённый сруб, так же ехал зимой в город, и стрела зимника была в тысячи раз больше его тарахтящей машинёхи.

Это новый образ Старшого мы ощущали и когда он выпускал нас из лодки, и когда забрёл в лес, и шёл к нам, и мы слышали, как осторожно ступает он по траве, по мёрзлому, кровельно-грохочущим мху, в который нога человека проваливается, оставляя печатные дырки с вертикальными рваными стенками. И когда он подходил, прячась за стволы, отстаиваясь за ёлкой, и выглядывал, шатаясь-двигаясь телом, а потом стрелял и подбегал, чтобы в пылу мы не истрепали, не раздербанили глухаря… и разговаривал с нами совсем другим голосом — словно что-то невидимо-новое нарождалось, строилось, струилось и мы были в центре надежды.

Но чем яснее становилось, что именно Старшой этим невидимым управляет, тем незначительней, незаметней он помогал происходящему и будто только присутствовал, тем сильнее оно само работало и простиралось в сложнейшие дали — точно так же, как уходил-простирался в небо мачтовый листвяг с чёрным силуэтом на выгнутой ветви.

Потом ещё были глухари. А потом Старшой решил, как обычно, «разок шваркнуть пиннинг», а потом помаленьку с этим «пиннингом» ушёл до мыска… А мы бесились, рыча, и носились по нежно жёлтой сухой траве, очень прямой и вертикально-острой, и пропахли ей невозможно, а потом помчались вверх в хребёт, откуда кисло-печёночно нанесло птицей, и взмыли на высоченную гору с гранёными столбами. А потом выбрались на покрытую ягелем бровку, поросшую крепкими кедриками и остроконечными пихточками, среди которых особенно чудно гляделись сухие — пепельно-серые и будто костяные. Мы замерли, затаив дыхание, хотя это было и нелегко — бока ходили ходуном и языки жарко свисали из разинутых пастей. А замереть было от чего…

Тёмно-синие горбатые сопки, о существовании которых мы и не подозревали, с тучевóй грозностью восстали со всех сторон, а внизу с какой-то поразительной, счастливой наглядностью открылся поворот с лодкой, широченный серп галечника и крохотная фигура Старшого.

Поразила река, плавно ползущая под уклон сизо-серебряной шкурой в водоворотах и шершаво-свинцовых пятнах ряби. Её тягучая плоскость меняла угол в каждый точке и, устремляясь меж каменных мысов к порогу, неумолимо и мощно ускорялась, растягивалась пятнами и гравюрно темнела складками от каждого камня. Далеко внизу пролетел глухарь, казавшийся сверху особенно сизым. Летел он, очень часто и книзу маша крыльями, мощно и коротко вспархивая, а потом мгновенно замирая в планировании. Застыл — и новая череда взмахов и долгое планирование на острых, плугообразно выгнутых, крыльях. Даль была такая совершенная и настолько… крупно-насыщенная, что дух захватило от пережитого, и мы долго стояли рядом… в одной волне, в одной… счастливой поре… ощущая с небывалой силой, что мы братья. И что всё, открытое нам, — от дальней горы до фигурки Старшого — наше, и мы, объятые одним делом, нужны и себе, и дали, и, главное, Старшому. Переполненные, мы заговорили наперебой обрывками мыслей, чувств:

— Вот это вид!

— Здесь даже ветер по-другому дует!

— И пахнет… — сказал Рыжик: — ой, как хорошо! — и вдруг глянул на меня в упор: — Ты вообще понял?

— Что понял? — насторожился я.

— Что *он* без нас не может…

— Старшой-то?

— А кто же ещё-то? Се-рый — раздельно сказал Рыжик: — Серый, ты понимаешь? Мне раньше казалось, что мы без него пропадём, а ведь, оказывается, и ему без нас… мяу.

— Да? Тебе тоже так показалось? Рыжий! Ведь вот как бывает! Ещё недавно, кто мы были? Щенчишки… А теперь у нас своё дело. Давай, брат, ты знаешь. Давай вместе как залаем за это!
— Давай!
И мы дали.
— Да лан, не ори,— сказал я, отдышавшись, кедровке, усевшейся на сушину.
— Да ей за́видно!
— Да, Рыж, действительно, надо сейчас что-то очень важное сказать друг другу… И вот этому простору… Смотри, Таган, по-моему, норку гоняет…
— Да где?
— Да вон, в курье́[4] за лодкой!
— Точно! Без нас, главное!
— От однодворец! Хе-хе!
— Ну. Да, кэшно, это важно, когда у тебя есть любимое дело, понимаешь… У нас есть всё… И всё так начинается…
— Мы собаки! И нам надо сказать…
— Своё слово…
— Сказать себе и друг другу, что будем собаками до конца… Давай троекратно залаем за наше собачье дело, нашу охоту…
— Наш промысел!
— Промысел! Разницу чуешь?
— А как же!
— За нашу тайгу — что будем беречь её, охранять…
— Аававав!
— В такой денёк, да в таком месте — чо не лаять!
— Аававав!
— Аааааав!
— Брат! Перед этой тайгой… Давай пообещаем выполнять наше собачье дело, как выполняли наши отцы и деды… так сказать пра-собаки… Быть верными и бескорыстными.
— Да! — с жаром сказал Рыжик. — И не забывать! Что мы не просто собаки! А то щас много развелось… В городах есть собаковидные, которые живут в благоустроенных, понимаешь, квартирах, едят магазинную курятину, которую делают из кур, которых кто-то за них облаивает! Которых за их хозяев кто-то добывает… А мы не прячемся за спины, понимаешь, мы на переднем краю… Помнишь, Старшой говорил, что у балконных лаек лапа ластой! А у нас комком.
— Да чо ты всё время себя сравниваешь?! Сам будь кем надо! Как Таган! Как, помнишь…
— Помню… Дай скажу!
— Нет, дай я!
— Ну говори!
— Нет, ты говори!
— А чо я хотел?
— Не знаю! Забыл! Ха-ха-ха!
— Давай просто полаем!
— Давай! Аававав!
— Да! Дак вот пройдёт год, и ещё много будет ошибок, а они будут! Обязательно будут… И я подумал, когда-то Таган также стоял на этом просторе…
— И я подумал!
— Мы оба подумали! И мы сейчас стоим здесь… Я подумал! Пройдёт год, и на следующую осень мы будем так же здесь стоять… И я хочу, чтобы нам было не стыдно за то…
— Что будет в этом году!
— Да! В таком неизвестном…
— Что сердце аж сжимается от неизвестности, до того всё прекрасно!
— И мы должны всегда помнить, что это наша даль…
— И что у нас лапы комком! — крикнул Рыжик и залился на всю округу.

3. Промысел начался

Потом всё заварилось плотно и ярко, сливаясь в алмазно-сине-рыжее месиво льда, воды и закатов, и не помню, сколь раз надевали на кулёк Рыжиковой морды петлю, сколь раз сдирали обратно против шерсти и сколь раз сбивали мы с курса лодку во время швартовки. Потом добыли оленя, в котором нам понравилось всё, кроме того, что он не стоит под собаками, и про которого Таган сказал: «Ниччо так бычок. Но сохат есть сохат!» А потом вернулись уже по снегу, Старшой вытащил лодку, и промысел начался́. Из приизбушечных событий ярких запомнились два.

Утром в сумерках с той стороны прилетел глухарь и с грохотом взгромоздился на ёлку над избушкой. Мы взлаяли, а Старшой в трусах и калошах вышел и добыл глухаря из «тозовки». Нас дико насмешило всё: и дурак-глухарь, сослепу вломившийся в наше расположение, и Старшой в трусах и с «тозовкой». Хохотали, пока Таган не рявкнул:
— Э, кони, хорош ржать. Вы бы с евоное отпахали в тайге, а потом бы хаха ловили.

Таган разговаривал рублено и резко. И слова будто обранивал. Не в смысле браниться, а в смысле ронять. При таких собеседниках — что ни скажи, а дураком будешь. Допустим, Таган обронит:
— На востоке соболь пошёл.
— Правда? — пискнем мы.
— А чо не правда… — буркнет Таган возмущённо-презрительно, да так, что ты виноват по уши, раз не веришь и переспрашиваешь. И басовито с рычи́нкой добавит: — Раньше в это вре-емя здесь по ручью-ю Аян, покойничек, по пять соболей в день загонял… Правда, я грю, тогда и собаки были… Аян рассказывал: Дяа Вова, старшовский отец, одних токо щенков до пяти особ на промысел брал. А оставлял одного! — и видя наши полные смятения глаза, говорил с напором: — Но зато ……

4. *Курья* — каменистый залив.

это собаки были… Хрен ли лаять…—Досадливо-разочарованное «А щас…» уже и не требовалось. Хотелось слиться с подстилкой.

Когда Таган заговаривал про деда Вову, у него немедленно появлялось выражение «одного токо»: дед «одного токо омоля по три ванны на замёт брал», «одной токо ки́слицы по сорок вёдер сдавал» или «одних токо веников по семьдесят дружек заготавливал». Дру́жка, кто не знает—это пара веников, связанных верёвочкой.

Таган за словом в карман не лез. Если кто-то говорил: «Да брось ты», он рявкал: «Как брось, так и подними», а если не соглашались, мол, «Ну конее-е-ешно», то передразнивал: «Конюшня».

Старшого он уважал, у них были свои долгие отношения, и то, как они общались—полунамёками, в касанье—отдельного слова стоит. Сидели у костра возле избушки, Старшой помешивал собачье в тазу и что-то говорил негромкое лежащему у ног Тагану, а тот чуть пошевелил хвостом и чуть прижимал уши. А Старшой клал руку на голову Тагану и поглаживал-почёсывал выпуклый шов на собачьем лбу. Ребро жёсткости, как выразился как-то Рыжик. Мы умирали от зависти—привязанный Рыжик аж зевал со скулинкой. Есть такое собачье проскуливание в зевке. Открыть рот будто для зевка, а дальше зевок растянется то-о-о-онким очень высоким скулежом, и, выходит, скулинка заменяет зевок, и вроде должна уже в лай перейти. Ан нет—в зевок и возвращается. Это происходит, когда мы нервничаем. Такое «у-аааааá»…

Чувствую, что вы сами начнёте зевать со скулинкой… Поэтому, закругляя до поры тему Старшово-Таганской дружбы, скажу, что понимали они друг друга с полуслова, и на развилке лыжни Таган всегда знал, куда пойдёт Старшой, хотя для порядка и оборачивался. А как Старшой смотрел на Тагана в работе! Когда примчавшись с огромной скоростью, тот с налёту совал нос в соболиные следы, взрезая снег, или свирепо вгрызался в подножие кедрины, так что летели корни, пахнущие грибами и прелью. Этим любовался не только Старшой. Рыжик же просто сглатывал.

Как я говорил, первым событием был глухарь и выход Старшого в трусах, а ко второму плавно перехожу через кутух.

Старшой сделал нам новый двухквартирный кутух—длинную будку из бревёшек с двумя входами и перегородкой—живи не хочу. У каждого своя площадь, но надо знать собак: мы тут же влезли вместе в правый отсек, сначала я, потом Рыжик. А потом в левый—сначала Рыжик, потом я. Рычали, толкались и так и жили: то вдвоём, то порозь. Попеременке.

Иногда Рыжик ложился рядом с дверью избушки под навесом, за что Старшой его звал «теплопопым», считая, что Рыжика привлекает тепло из-под двери. Хотя, возможно, ему хотелось оказаться первым, когда Старшой вынесет объеденную грудину глухаря или рыбьи кости. Рыжик належал себе даже преддверную круглую вмятину в грунте, где свернувшись клубком, то прислушивался к манёврам Старшого в зимовье́, то дремал, а то вдруг начинал, напряжённо вздев морду и натянув углы рта, чесаться и стучать лапой по бревну или косяку. На что Старшой отвечал неизменным: «Кто там? Наши все дома». А когда приоткрывал дверь выпустить жар, то Рыжик вставал и вдвигал в избушку сначала морду, потом шею, а потом и сам вдвигался и стоял, виляя хвостом, долбя им по косяку, на что Старшой говорил: «Избушку срубишь».

Толкаться у двери зимовья́ под навесом мы оба любили и однажды, играя, весело заедаясь и колготясь, своротили пустой ящик. По нему Рыжик залез на лабазок и взял кусок масла с дощечки, на которой лежал ещё и примёрзший малосольный сиг. Рыжик-то схватил масло, но дощечка упала и грохотнула. Старшой выскочил и всё понял, хотя Рыжика и след простыл. Старшой положил кусок привады на то же место и пододвинул поудобней ящик. На следующий вечер Рыжик лежал-лежал, а потом внезапно и ни слова не говоря сорвался и мелкой самоуглублённой трусцой подтрусил к ящику, встал на него задними лапами и, опершись передними о полку ла́база, аккуратно взял приваду. К ней Старшой привязал крышку от бидона, и она грохнула. Рыжик отпрыгнул и, слыша как Старшой нашаривает калоши, соскочив с нар, удрал подальше.

Третье событие произошло не у избушки, а в тайге. Был у нас длинный и нелёгкий день, ходили по путику-тупику, возвращаясь своей лыжнёй. Едва Старшой развернулся в сторону избушки, Рыжик учесал домой. В стороне от лыжни Таган облаял глухаря, и мы задержались, а возвращаясь, не доходя до избушки, обнаружили Рыжика попавшим в капкан. Как сейчас помню—второй номер, Старшой ставил их на лису, росомаху и песца, когда тот подходил с тундры. «Оголодал!»—прорычал Старшой.—Полтора кило́метра не дотерпел! Заблюдник…» Когда Старшой попытался освободить брата—тот стал истерически кусаться, и Старшой снял суконную куртку и, накинув ему на морду, освободил лапу.

Это из неприятного. А конечно, самым главным и долгожданным событием стали наши первые соболя.

Самого первого облаял Таган. Когда мы с братом подбежали, всё вокруг кедры́ было истоптано, и захода соболя я не понял, как и картины вообще. Соболишка попался тайкий (люблю это слово) и никаких признаков жизни не подавал. Движения воздуха были таковы, что запаха зверька я не ощущал. У меня было два выхода: ничего не поняв, залаять вслед за Рыжиком заодно с Таганом либо

не торопиться и разобраться самому. К тому же у меня обострённое чувство чужих заслуг и мне не хотелось ни к кому примазываться. Хотя, как выяснилось, одно дело принципы, другое чувства. Подошёл Старшой и, чтобы нас затравить, выстрелил рядом с соболем по ветке.

Зрение у собак на третьем месте после нюха и слуха. Но когда я увидел качнувшиеся ветви и перескочившего по ним тёмно-бурое существо мягкого, густого и немыслимо породистого облика и таких великолепно-спокойных, царских и внимательно-гибких движений, что рот мне распёрло комком взрывного лая. Будто там лопнуло что-то… Будто раскрылась, дождавшаяся часа капканная пружина. Понимаю неуместность сравнения и использую только для того, чтобы показать разевающую силу этого лая. Его распирающую неизбежность. Дальше к хоровому лаю добавился ещё один звук. Сначала мне показалось, что это придыхание Тагана, межлаевая одышка, или что у него в гортани застряла гнилая мягкая щепка, но потом оказалось, что, несмотря на низовое положение Тагана, звук идёт сверху, будто у самой кедры засорилось смолистое горло. И когда я понял, что это ворчит соболь… я потерял голову. И если первый раз мне взорвало пасть пружиной от «нолёвки», то тут было неистовая «тройка». Добавьте головку с круглыми светлыми ушами, пролившийся наконец режущий запах, и это немыслимое шевеление в тяжких и крупных пучках кедровой хвои. И протяжно-пружинный стон отрикошетившей пульки. И отстреленная веточка с тремя кистями хвои, к которой мы с Рыжиками кинулись как дураки. И наше визгливо жалостное взлаивание на перепрыгивания соболя, и Рыжик, кинувшийся лапами на ствол и откусивший кусок коры.

Там вверху нечто огромно-таинственное и неистовое царило, некое диковинное существо размером с кедру́, шевелящее хвоей, придыханно ворчащее, замирающее, воющее пулькой, обманно роняющее ветви и настолько вездесущее, что вылетевшая из-под зубов Рыжика кора—тоже казалась частью его безумия. И оно ходило ходуном, и когда Старшой особенно неожиданно выстрелил—собралось и выдало нам вытяжку, кристалл, образец, смоляную капь, сгусток тёмной молнии, и Старшой кинулся, чтобы мы с Рыжиком не порвали её пополам и не умерли от разряда. Потом долго и изумрудно умирали соболиные очи, светились диковинно на царском меху—сложнейше-коричневым с переходами, со сказочным переливом в палевость, с намёком на рыжину и затемнением по хребту. С головешечно-чёрными мохнатыми лапами и ярко оранжевым горлом, поразительно созвучным острому тревожащему запаху. Мы всё прыгали, пытались ухватить добычу, и Старшой давал нам легонько пожамкать-лизнуть, крепко держа и оставляя меж сжатых кистей оконце соболиного тела—морды, уха. А мы, потрясённые, прихватив и потрепав добычу, фыркали и вновь заливались восторженным лаем.

На другой день счастье подвалило уже именно́е! Я наткнулся на соболя накоротке, и он влез на высокую и тонкую листвянку и сидел, изогнувшись и кругло сложившись. Его было отлично видно, на этот раз жёлто-рыжего, освещённого солнцем на фоне синего неба. Когда я всё лизал и пытался судорожно прихватить добытого соболя, Старшой, сдерживая мой пыл, говорил особенно негромко и внимательно. В его «молодец-молодец» звучали настолько серьёзные ноты, что снова забрезжили связи-жердины и снова замутило от ощущения прозрачной и ноющей ваги внутри меня…

Были ещё соболя, скрывшиеся в корнях, которые мы разрывали чёрными от земли мордами, и зубы и розовые дёсны Рыжика в тёмных кусочках мусора, помню вытоптанный дотла снег и длиннющие, уходящие вдаль шнуры корней, и как они вспарывали подстилку, когда Старшой их дёргал. Была лежачая дуплистая покрытая мохом труба-кедрина, в которой затаился соболь. Таган стоял у выхода, взлаивая и крутя головой, и Старшой вырубал топором дырки, как в дудке, тыкал в них палкой, и мы видели в окнах диковинно-сказочный проползающий мех…

Однажды мы загнали соболя в огромную зеленоватую осину, гладкокожую, с буграми-наплывами вкруг сучков, уже сгнивших и глядящих дуплами. Осина была необыкновенно литая и гулко дуплистая… Старшой прорубил в комле дыру, открывшуюся кромешно и близко, и запалил бересту. Медленно и пахуче разгорелся огонь и повалил дым сначала из одного дупла, потом из другого и третьего. Соболь вылез и сначала пополз вниз головой, распластавшись полностью и цокотя коготками, спускался рывками-перебежками, и свисал хвост, загнувшись на спину. Старшой добыл соболя, и когда уходили, я жарким ртом куснул снега и оглянулся: гудела тяга в осине, густой белый дым валил из многочисленных дупел в разные стороны и под разными углами, и коренастое дерево напоминало какой-то старинный людской агрегат…

4. Рыжик

Когда узнаёшь, что состоявшийся, знающий дело пёс вдруг ещё и стихи пишет, неловко становится как-то и неустойчиво. Есть образ, к которому ты приладился, с которым понятно и крепко… и вдруг вся собака… откатывается на слабую точку. Личность, привыкшая побеждать, вдруг сознательно становится беззащитной, уязвимой пред белым светом, ушлым на критику. Так и охота спросить—зачем?

Рыжик хоть и не был состоявшейся собакой, но в направлении двигался, и поэтому неловкость

я испытал ужасную, узнав, что он ещё и пописывает. Вирши совершенно не шли Рыжему и выражали не его суть, а одну, скажем так, идейную ипостась, причём настолько примитивно, что если бы их прочёл некто, съевший собаку в поэзии и не знавший Рыжика, то был бы разочарован: образ лирической собаки не имел ничего общего с той собакой, каковой эта собака была в собачьей жизни.

Тем не менее содержание этих… куплетов, а иначе их не назовёшь, помогают понять, что роковой тот поступок, на который мой брат столь безрассудно решился, не имел никакой материальной, или, скажем так, желудочной, подоплёки. Надо полностью не понимать Рыжика, чтобы объяснять случившееся продуктовыми причинами, и я абсолютно уверен, что сама по себе привада, как продовольствие, не интересовала Рыжика вовсе, а руководила им лишь идея бунта против существующей картины взаимоотношений, скажем так, гражданина и власти и его собственного в ней положения. Поэтому трактовать поступок Рыжика с продовольственных позиций, как это делал Таган, совершенно ошибочно и, я бы сказал, недальновидно.

Чтобы доказать сугубо идейную подоплёку этого бунта, я предлагаю обратиться к поэтическим изысканиям Рыжика, которые, не имея отношения к литературе, нужны лишь в доказательство моей версии произошедшего. И прошу не воспринимать моё критическое отношение к творчеству брата как повод выставиться более сноровистым в словестном творчестве: я начисто лишён подобных притязаний и выступаю как летописец.

В таёжной жизни бывает, кто-то напоёт, просыпаясь, какую-нибудь глупость, и все повторяют её до самого заката. Поэтому так важно, чтобы день, осень, жизнь начинались с правильной строчки. Так вот Рыжик частенько бубнил с утра глупейшее словочетание: «Этот Рыжик в общем-то рыжовый»… А я целый день его повторял, и чем сильнее ощущал его глупость, тем послушней долдонил.

Что он имел в виду? Какую такую «рыжовость»? А может, не рыжовость, а ржавость? Повторю, Рыжик был, что называется, с идейками и с критической жилкой. Грамотный, по-своему даже начитанный, он имел самостоятельное суждение по каждому почти случаю, да ещё и с пофыркиванием на общепринятое. Имею в виду пофыркивание в общечеловеческим смысле, а не в сугубо собачьем.

По моим наблюдениям, чем грамотней творческая собака рассуждает об искусстве и чем сильнее наращивает читательские ожидания, тем слабее её произведения. Если уподобить душу художника котлу, в котором готовится духовная пища, то без конца снимая крышку, ты лишь стравливаешь пар и роняешь давление… Это же относится и к строгости подачи — канон на то и канон, чтоб не отвлекаться на форму посуды и собраться на взваре.

И либо Рыжик слишком много рассуждал о законах творчества, либо ошибся с каноном, но всё его стихотворчество свелось к какой-то бесконечной поэме в духе тюремного фольклора с вечным плохим прокурором и несчастным арестантом. В качестве прокурора и мучителя выступал Старшой, купающийся в комфорте, у которого в избушках чуть не полированные стены и прочие излишества и, конечно же, «кулинарное питанье и от печки ровное тепло». Причём эти «полированные стены» будто свидетельствуют о некоем буржуазном вкусе, точнее, как раз отсутствию вкуса и тяге к внешнему лоску:

У него в избушках много лака,
Там он развалился и храпит
А за дверью бедная собака
В кутухе простуженно сопит.

У неё дырявая избёнка
Колко смотрят звёзды из щелей,
Вместо двери тонкая картонка
И лицо в укусах соболей.

Летом были с девушкой в походе,
Гнус в пути довольно сильно грыз,
Кто-то, вечно правый, встретил нас расправой,
И хотелось спрятаться за мыс.

Там, где снег в сидячую собаку,
Мы идём-та в общем-то по пешком,
Ну а кто-то прёт на снегоходе
Да и в общем смотрит бирюком.

Мы ползём за ним в снегу по брюхо,
Едкий выхлоп лезет нам в носы
Это нам грозит потерей нюха
И вот-вот отвалятся усы.

(Вариант:

К позвонкам давно прилипло брюхо
Лезет выхлоп в ухо, горло, нос
Это нам грозит потерей слуха
И на зренье скажется всерьёз.)

С последними куплетами он меня всерьёз мучил, требуя выбрать лучший.

К его поэме подошла бы заключительная строфа:

На восходе рыжем и суровом
Из трубы железной вился дым.
Этот Рыжик был с утра рыжовым
А к закату сделался седым.

Строчка про звёзды, «колко» глядящие из щелей, мне нравилась, так же как и аллитерация «тонкая картонка», хотя и то и другое — красное словцо: никакой картонки не существовало — дверь в кутух была завешена плотной мешковиной. Да и звёзды из щелей не смотрели — бревёшки были отлично

подогнаны и проложены мохом. Но строки казались самыми удачными. Так что есть правда?!

Остальное, не годилось никуда, особенно гнус, который нас настолько «сильно грыз», что ниоткуда появлялся целый персонаж, некий таинственный и странный «сильногрыз». А меткое выражение «снег в сидячую собаку» Рыжик подслушал у Старшого.

Не смешно, а нелепо и горько всё это, учитывая развязку. И повторяю, куплеты эти не имеют ничего общего с личностью их автора, который, имея прекрасный слух к чужим успехам и неудачам, обладал полной слепотой по отношению к себе. Впрочем, в этом мы все успеваем.

Видимо, не успев в стихах, он перешёл, так сказать, на прозу, точнее, на публицистику, начав со всем максимализмом разрабатывать теорию Собачьего, которая имела массу позитивного, но искривилась и свелась к окрестностям вопроса. Рыжик разрабатывал не содержанье Собачьего, а «держал границы», например, занимался составлением словариков «выражений, оскорбляющих собачье достоинство». (Собачий холод, собачья жизнь, насобачился, плавать по-собачьи.)

Услышав разговор охотников про собачки от стартёра, полез в справочники, а потом изыздевался:

— Слыхал, новости? «Собачка — деталь храпового механизма». Это наверно, когда Старшой храпака дерёт в избушке, а мы на улице зубами стучим!

Придумал словечко «собы», казавшееся ему особо удачным, и оно, дурацкое, вошло и в мой обиход. Удивительно как бывает. Один придумает что-то в пылу самопоиска да тут же отгорит и десять раз предаст, а другой всё примет и потихоньку-полегоньку понесёт сквозь всю жизнь, наполнясь по сердце и дивясь как дару. Так и у меня вышло, когда я, глядя на окружающих и расспрашивая о прошлом, осознал нашу собачью особость, те главные качества, на которых веками зиждилась негордая наша порода. Они просты, как всё исконное. Это три камня: верность, способность к бескорыстному служению и непамятозлобие.

В Рыжиковых же Собах ничего, кроме того, что мы о*соб*енные, не было и дальше деклараций и щенячьей игры в слова не пошло: Рыжик впал в свою даже ересь. Слово «о*соб*енность» у него означало количество собак у охотника. «Индекс о*соб*енности промысловиков Балахчанского района к концу 19 века колебался в пределах двух-трёх о*соб*ей на русского охотника и пяти-шести на енисейского ясачного остяка и тунгуса…» О*собь*, по*соб*ие, *соб*лазн, *соб*утыльник — всё Рыжик трактовал и переизобретал. Под*соб*ка — небольшая молодая собака. *Соб*людение — облюдение собак, то есть приобретения ими человеческих качеств. Под*соб*ник — коврик. Вершиной были перлы, вроде междоусобицы, означавшей пространство меж собачьих усов.

— А как же соболь? — спросил я.

— Ххе. — сказал Рыжик, и стал тянуть время: — Ну как же, как же… э-э-э… пр-с-сь — вдруг догадался брат и продолжил очень солидно: — Ну как же? Со. Боль. Собачья боль. Ну… вечная обида на несправедливость… Вроде как ты нашёл, догнал, облаял, а припёрся Старшой, добыл-подобрал, пинкаря наподдал и в свою котомку бросил. Это, как в кино оператор, отснял — и до связи. А все хрящики режиссёру. От так от! Да…

И вдруг открыл:

— Ты понимаешь, мы операторы! Операторы скаковой… Меховой… Не! Во: нюхово́й погони. Операторы нюховой погони! Х-хе! Звучит? Хватит нам дедовским строем жить! Надо в лапу с эпохой! Собь наша держится за любовь к миру и любовь к самому себе! Даль — ни больше ни меньше!

— Какая даль?

— Владимир Даль, тундрятина!

Уже стояла середина ноября, всё глубел снег, и мы уже не могли догнать соболя. Снег это треножил и изводил, наводя на мысль, что самое интересное позади. Это не означало, что надо обязательно плестись за Старшим: по старой лыжне ещё можно было убежать вперёд, но шаг в сторону — и уже прыжки и язык на плече. День сжался, ночи подступали всё морознее, и мы лежали в кутухах, укрыв хвостами носы, так что на бровях к утру козырьком серебрел куржак, создавая росомаший вид. Выбегая из кутуха, Рыжик то и дело поджимал ногу и заскуливал. Приходили поздно, не в силах догнать соболя, за которым брел, пока хватало сил. Таган такой ерундой не занимался, чётко знал и снег, и силы и гонял только парны́е (свежие) следы на самом коротке и шагом. Мы же убегали и приходили в темноте, чаще так и не догнав соболя, а если догоняли, то лаяли часов до трёх-четырёх ночи, сокрушаясь, почему не скрипит на лыжах Старшой. Нам в голову не приходило, что он не в состоянии столько отмахать по тайге. Вскоре снег и вовсе оглубел. Самое обидное, что соболь это понимал, наглел и, бывало, прыгал с кедры́ и убегал по снегу, зная, что его не догнать. Работа всё больше сводилась к тупому бредению за Старшим и попыткам нескольких натужных прыжков в сторону и обратно.

Был ещё урок, который добавил раздражения Рыжему. Учил он знанию одного из важных законов собачьей жизни. Я бы его назвал «законом притяжения избушек». Как-то раз мы уходили в хребтовую избушку на малый круг. Уход с зимовья́ целое дело, Старшой кучу всего убирал, проверял, выливал воду из вёдер, убирал лестницу от большого ла́база. На полдороги к Хаканачам Рыжик погнал след соболя, который вывел его в обратную сторону. След был старый, Рыжик бродил-бродил,

потом выбежал на нашу дорогу и вместо того, чтобы догонять, вернулся на базу и сидел там три дня, пока мы не пришли. Притяжение избушки вернуло его с полпути и не пускало на наши розыски. Таган сказал, что его «столь раз ловило» и что меня «ишо не раз поймат».

Рыжик особенно переживал и страшно обиделся, что его «забыли». Снег подваливал. Брату всё сильнее хотелось действия, чего-то острого, интересного и как натура нетерпеливая и впечатлительная он маялся, и всё чаще проявлялась эта нервная скулинка в зевке. Раздражало всё: «Он перестанет валить-то (про снег)? Честно говоря, остопуэбло. Таган ещё этот. Бе-бе-бе… Задутый в хлам. Сам от себя тащится».

Но больше всего доставалось Старшому:

— Меня, например, возмущают некоторые вещи. Как он всё время повторяет одни и те же шуточки. «Избушку срубишь». Или: «Наши все дома». Я Тагана специально спрашивал — он говорит, тот уже много лет это прогоняет. Меня, например, просто раздражает, как он снегоход заведёт и стои-ит, стои-ит рядом… Особенно в мороз он эту тягучку тянет, дымина, давно ехать, а он всё стоит. Себя и нас травит. Или как торчит над душой, когда мы едим: «— Ешь, ешь, крупу подбирай, одну рыбу и я могу».

Я пожимал плечами. Мне не приходило в голову раздражаться. Как есть так и есть. Не то что я такой послушный, покорный. Нет. Просто так устроен. Себя хватает. Да и спокойней.

— Да ты какой-то равнодушный… — с горечью говорил Рыжик и пытался развеселиться зубоскальством. Читающий всё, начиная от рваных упаковок и инструкций до философских трудов, придумал свой способ подшучивать над Старшим. Поскольку наша жизнь очень сильно завязана на Старшого, то привычен вопрос: «Где Старшой?» И допустим, Старшой ладит переправу. «Где Старшой?». — «Диодный мост через ручей намораживает». Или: «Где Старшой?» — «На лабаз иерархическую лестницу ремонтирует». Или: «Генератор идей дёргает». — «Ха-ха-ха». При всей глупости выражения привились, и лестницу мы так и звали «Ерархической», а мост «Диодным». «Хе-хе, Диодный промыло!» Шуточки не спасали, и раздражение в конце концов привело к тому, что Рыжик предложил мне совершить поступок, который… В общем, всё по порядку.

— Я не знаю, чо ты страдаешь, — сказал как-то ночью в кутухе Рыжик. Сказал негромко и, подавая, что я́, а не он извёлся: — Я всё продумал. Токо идти на тупик надо, где меньше попадает, где вообще может зря провисеть. Он нам ещё спасибо скажет: «Всё равно кукши с кукарами[5] склюют. А тут хоть вас накормил. Сёдни поздно пришли, сварить не успел. Устряпался с этим снегом. Валит и валит, — говорил Рыжик со старшовскими интонациями: — Молодцы, чо скажешь. Сами о себе позаботились, не всё батьке за вами сопли вытирать», хе-хе.

Я даже рассмеялся, а удовлетворённый эффектом Рыжик сменил тон на серьёзно-штабной:

— Смотри. У него на тупике шестьдесят ловушек. Допустим, полста капканов и десять кулёмок. Кулёмки, лешак с ним, не берём, там привада вы́соко, не дотянемся. Только время потеряем. Тем более полста капканов — это во, — он провёл лапой по горлу, — по двадцать пять кусочков на рыло. Куда с добром? Ну чо? — подвёл он торжествующе-гордо: — Делаем?

— Рыжак, ты чо сдурел? Ты чо не понял ничего? Это труба. Нельзя. Он тебя всяко разно вычислит.

— В смы́сле — «меня?» А ты чо — типа сам по себе? Ты такой честный? А я, значит, плохой.

— Да нельзя этого делать!

— Да тебе кто сказал-то такое? Чо за туземные правила. Ещё про обязанности скажи! Я, например, себя совершенно не чувствую… обязанным ему… Во-первых, он, смотри, в тепле, а мы в будках. Во-вторых, как о́н питается и как мы́? Ты думаешь нормально: до ночи не жрамши бегать, а потом брюхо набивать так, что пошевелиться не можешь? Бочка и бочка. Смотреть дико… И всё одно и то же, каша и рыба, каша и рыба… — говорил он с напором: — Ты вообще в курсе, какой рацион должен у собак быть? Ну вот то-то! А он-то о себе на забыва-а-ает! — проницательно протянул Рыжик. — То рожки, то макарошки! Все эти соуса́, кетчупа́! Гречка, сечка, рис, пшёнка, манка, овсянка! Да! Эта ещё… как её? Ну как? — раздражённо забил хвостом.

— Полтавка?

— Да нет! Перловка! Перловка. Ну.

— Горох ещё.

— Ну, горох. Фасоль ещё. А картошечка! С сальцем! Тьфу! Лук только зря он везде пихает. — Рыжик совсем раздражился. — А тут таз этот грызёшь-выгрызаешь…

Бывало, остатки каши замерзали в тазу, и мы их грызли, пытаясь добраться до труднокусаемой области, где соединяется донце с бортиком. И так и глядела оттуда мёрзлая каша со следами зубов…

— А соболей этих как он нас жрать приучал! — не унимался Рыжик. — Меня первый раз чуть не вывернуло. Такой духан у них… Бээээ… А ещё по рации… — Рыжик заговорил с грубой манерностью растягивая слова: — Ещё с таким довольством рассказывал: «Нее… — он снова стал очень похоже изображать Старшого: — Я своих приучэ-эю… Сначала морду воротят. А морозцы придэ-эвят, как миленькие хряпать будут… хе-хе… Ни хрена… Голод не тётка…»

И он ещё добрал раздражения:

5. *Кукары* — так называют кедровок.

— А теперь, прикинь, сколь он километров за день проходит, а сколь мы? Я в книге читал: «Промысловая собака пробегает в день расстояние, в 10 раз превышающее дневной переход охотника!» О как — в десять раз! Это не хрен собачий!

— За базаром следи!

— Да чо ты мне тут! Надоело всё! Ложь эта бесконечная… Собачье-несобачье… А главное: ему навалить на наши заботы! И ты хорош: «Наше, Собачье!» А сам за что стоишь? Помнишь, как мы клялись-стояли над скалами! Ты говорил — верность! Пусть они как хотят там! Чо хотят! А мы как пятьсот лет в той же шкуре бегали, так и бегаем! — Рыжик сменил тон на предупреждающий: — А снег оглубеет — мы вообще поплывём! Только уши одни останутся. А он на снегоход — и алга! А от него вонища сам знаешь какая? Погоде-е-е, — завёл он умудрено, — я на тебя посмотрю, когда настоящие морозы придавят?! Кто нам тогда за вредность доплатит? Так что нечего тут в благородство играть… Доигрались, что нас скоро на хасок поменяют. Видал вон, Коршунята чо творят!

— Ну, — согласился я, — последнее время он наше Собачье ни в грош не ставит — с Коршунятами тут миндальничал.

Коршунятами звали наших соседей по участку, из тех, про которых говорят «палец в рот не клади». Они пытались заработать на всём и строили планы, купли иностранных собак для катания богатых туристов. Кличка Коршунята — производное от фамилии Коршуновы. Не люблю говорящих фамилий, но тут бессилен. Так что извиняйте.

— Дак про то и толк! — с жаром подхватил Рыжи. — И не то что не ставит — а просто попирает. Просто па-пи-рает — сказал он совсем по-Тагански, — и кстати, вот Николь, она молодец… Она говорит… Ну чо ты морщишься? — наморщился на меня Рыжик и почесался, застучав по будке.

— Наши все дома! — сказал я, и мы захохотали.

— Хорош ржать, жеребятня! — рыкнул Таган.

— Да всё. Всё, дя. — сказал Рыжик и тихо добавил, покачав головой, — ещё один. Задрали… — и продолжил обычным голосом. — Дак вот Николь… Да ты чо опять?

— Да имя чо попалошное… — сказал я, щадя Рыжика и переводя неприязнь к манерной сучке на её имя.

— Нормальное имя. А чо? Лучше, как у вас: Соболь и Пулька?! Припупеть как оригинально! Дак она грит — вот в городе, да? Там территория с фигову душу, у нас участок в десять раз больше. У них там ни леса не растёт, ни мяса не водится, ни рыбы, ни чего, а живут распрекрасно! А тут вечная попа в мыле и каша мёрзлая раз в сутки.

Рыжик вдруг заговорил с примирительно-справедливой интонацией:

— Причём я не предлагаю брать путик, где попадает. Берём самый пустой. Где соболь раз в пять лет забредёт, да и то сдуру. Заморыш самый. Всё равно пропадёт привада. А это его труд, между прочим. И наш. Ты поди, этого глухаря найди, облай, потом добудь, обработай. На кусочки поруби. Проволочки к ним привяжи. Ни хрена себе! И всё этим тварюгам. Кедровкам этим, кукшам… Не выношу, как он орут. Дятлы эти… Долбят сидят! По башке себе долби. Ду-пло-гнёзд-ник… — презрительно обратился Рыжик к воображаемому дятлу. Он всё больше набирался мощной Тагановской интонации. — Ага. А привада через месяц выбыгает[6] — и с неё толку нуль. Всё равно её обновлять наа. Он нам ещё спасибо скажет. Мы так сказать… обеспечим своевременное обновление приманки, что положительно скажется на результатах промысла. Не-е… — и он оглянулся, будто обращался уже не ко мне, к какой-то пространной и заинтересованной аудитории: — Я считаю, тут надо чётко. Или-или. Так что думай. А то вечно будешь… х-хе… на подлайке… По попе лопаткой получать. А он твоих соболей будет на аукцион толкать… А ты мёрзлую сечку грызть… Или… полтавку… И зубьями клацать… — и добавил с грозным холодком: — Так чо? Со мной или как?

— Не, Рыж. Я не то что «или как». Я против. И тебе скажу: не ходи никуда. Беда будет.

— О-о-о, понятно, — потянул он презрительно. — Я думал, ты правда брат. А ты так… Временный спарщик. Я думал — вместе — значит вместе. На кой ты тогда все эти сопли разводил над скалами? — и вдруг сказал резко и собранно: — Ладно. Разберусь, — и добавил, вставая, — кашку жуйте. Счастливо оставаться. Да, и надеюсь, ты Тагану не станешь передавать наш разговор.

— Чо сдурел? Да. Ты в курсе, что там есть капканы с очепами — вздёрнет так, что лапу вывернет из сустава. И в мороз нельзя. Влетишь — и хана лапе.

— Да ба-рось ты, — развязно парировал Рыжик, демонстративно отдаляясь от меня. — Такие дела красе-ево надо делать. При звёздах. На бодряке. Я вообще шлячу не люблю. Когда сырость, снежина этот. Не моё. У меня в снег вялость. Не охота ниччо. А когда вызвездит с ночи! Это да. Мне Таган рассказывал, есть какой-то Ткач у них, дак тот только ночью работает, с фонарём. Грит, расстояния короче. Вообще мужик! У него литовка в каждой избушке, и он, представь, с осени собакам сено косит на подстилку. Они у него в отличных условиях, ну и отдача сам понимаешь! А наш чо? Только орёт и шестом лупит. А раньше, Таган говорит, — исторически завёл Рыжик, — у бати его, Дя Вовы, кутухи были в угол рубленные… И кастрюли с полбочки. Понял? И одной рыбой кормил. По пять центнер одного токо налима заготавливал!

……

6. *Выбыгает* — от слова быгать. Выветриваться, обезвоживаться, обветриваться, вымораживаться.

Дак у него и собаки как глобусы были… Этот пришёл: всю… инфраструктуру свернул на хрен!
— Как глобусы! Такие же синие что ль? Ой, не могу! Надо было тебя Глобусом назвать! А не Рыжиком! Глобус, ко мне! Опеть, падла, отъелся!

Он, было, улыбнулся, но тут же улыбку свернул и продолжил:
— Да-а-а, не ожидал я от тебя, Серый… такого поворота… Не о-жи-дал… Ты меня знаешь. Мне-то в гордяк с тобой работать… А ты вон как. Ну ладно. Только потом не надо… примазываться… к чужим достижениям.

Рыжик вылез, побегал и, хватанув снегу, вернулся в кутух:
— Удивляюсь на тебя. Не хочешь по капканам, а сам в капкане. Сидишь и боишься вырваться. Ты разуй мозги-то. Я щас тебе открытие сделаю. Хочешь? Ну слушай. С капканами. Можно. Спокойно работать! Я, например, сразу понял. Просто не надо на них нас-ту-пать. Всё. Не наступай на железо. Спокойно главное. Подошёл. Онюхал-осмотрел. И ставишь лапу. Там места валом. Это соболь дурак, ему по фиг. Не понимает железа. А мы-то собаки! Запомни: от железа фон холода идёт! Всё.— Рыжик задумался, помолчал и продолжил философски.— Не знаю… Какая-то в вас несвобода, что ли… Таган, помнишь, рассказывал, что здесь раньше капканы на земле ставили. И мыши жрали пушнину не-щад-но. Потом с Саян, с Каратуза приехал какой-то Крюков ли Хрюков, хе-хе… и стал на жердушки ставить — и всё. И все начали жердушки лепить. А чо раньше-то? Где мозги были? Сидели соболей штопали, глаза ломали при лампах. Керосиновых. Я вообще в шоке.
— Да чо ты мне тут про Каратуз? Я те про то, что приваду трогать нельзя! Ты чо такой!
— Да кто сказал-то, что нельзя? Старшой что ли этот преподобный? Он кто такой-то?
— Он Старшой.
— Да ладно тебе,— презрительно-успокоенно сказал Рыжик и, протяжно зевнув со скулинкой, закруглил разговор:— Отбива-а-аться надо.

Хотя с Рыжим я говорил решительно, внутри всё рвалось. Я-то собирался идти с ним на преступление, обосновывая тем, что при мне он не влетит. То почти соглашался с его правдой, а то не соглашался, но выбирал братскую дружбу без всякой правды и обоснований. За ночь Рыжикова правда вытекала из меня, и я переживал, что почти предал Старшого с Таганом. И гадал — как и дружбу не обидеть, и не участвовать. Даже подумал пообещать, а потом сказать, что лапа заболела. И хотел, чтоб всё как-нибудь сделалось: чтоб Старшой, решил заменить накроху, велел нам старую съесть, и мы бы пошли. Гаже не было состояния: я брата любил.

Однажды мы с Рыжим притащились особенно поздно — Старшой с Таганом давно вернулись в избушку. Мы, бредя сзади, наткнулись на след, поковыляли по нему и, найдя соболя в корнях, много часов пролаяли. Днём было тепло, а к ночи стало на глазах подмораживать. Рваные тучи понеслись с северо-запада, открыли закатное небо, и гнутые ветви кедров на его фоне казались особенно чёрными и пучкастыми, а прозрачно-огненные просветы пятнистыми от кедровых кистей.

Мокрая шерсть мгновенно бралась панцирем. Пришли во льду, с ледышками меж подушек. У меня кровил, болтался коготь — я его отодрал, когда рыл соболя в корнях и камнях и не заметил в азарте, в трудовом упоении… В ощущении своих окрепших лап, наросшей на подушках кожи, толстой и тугой… В восторге от сочетания несовместимого — снега и угластых камней, горной грозной породы, обрывков мха и богатейшего терпкого запаха: земли, корней и плесени… И всё крутилась, поглощала мысль: жизнь сырьём берём! И стояли перед глазами: освещённая закатом сопка с сахарно-розовым от кухты лесом и белая бугристая плешина на склоне — каменные россыпи в чехле снега, и ворчание соболя… И как выкатились на затвердевшую лыжню и бежали, толкаясь и кусаясь.

Старшой обрадованно выскочил: на ворчанье ли Тагана, которого запустил в избушку или на грохот пустого Таганьего таза, из которого Рыжик бросился выгрызать остатки каши. Старшой, громко и радостно выговаривал: «Где шарились, а? Ах вы, собаки! Ах вы, морды!» и вынес таз с кормом, который давно остыл и ждал в избушке. Накормив, Старшой в виде праздника запустил нас в избушку. Мы мгновенно забрались под нары, где Рыжик начал сопеть, чихать и чесаться, колотить лапой, и Старшой сказал:
— Кто там? Наши все дома!

Никогда не забуду. Тихий бледный свет ночника. На коврике в ногах Старшого Таган. Старшой с ним разговаривает и почти советуется, а тот лишь едва прижимает уши и хвостом даже не шевелит, а обозначает готовность.

Таган лежал на полу, но его подстилка, старый детский матрасик, казался каким-то троном. Тихо подпевала печка-экономка, верещала убавленная радиостанция, которую Старшой слушал в полуха, и такой покой стоял в полуосвещённой избушке, что на всю жизнь заворожил образом счастья.

Старшой глянул на будильник и добавил громкости рации. Там что-то нудно пикало, да далёким фоном шли сразу несколько разговоров.
— Хорогóчи! Хорогочи Скальному! — вдруг неожиданно близко заговорил голос, искажённый до режуще-комариного. Старшой покрутил тембр и из писклявого обратил в неузнаваемо загустевший, вязнущий и одновременно гудящий, будто Скальный говорил в дупло, а потом вернул к среднеестественному.

На связи, Скальный! Там Курумкан не вылазил?

— Да нет пока…
— Ясно.— Старшому самому так нравилась тишина и редкое наше единение, что говорить особо не хотелось, но он поддержал разговор:
— Ну что? Как делишки? Пробегает соболёк?
— Да пробегать-то пробегает, а ко́бель меня новый замучил.— Скальному было охота, чтоб распросили, и не торопился всё выкладывать.
— Чо такое?
— Да чо-чо? Соболей мёрзлых в капкане портить повадился! Задолбался.
— Отметель как следует этим соболем по сусалу.
— Да метелил. Первый раз такой соболь ещё попался, котяра, треттий цвет, здор-ровый. Так отходил! Потом этого соболя полночи штопал, глаза сломал. На следующий день ещё пять штук… Подбежит, пожамкает и, главное, удирает тут же! Как понимает.
— Да всё они понимают! — с возмущением сказал Старшой.— А рабочий хоть кобель?
— Ну как? Молодой… Шибких достижений нет… В пяту[7] тут погнал.
— Нда… Как бы убирать не пришлось. Это бесполезно. Только нервы мотать будет…
— Но. Я и сам думаю. Жалко, конечно… Но с такой охотой — не знай…

Тут вмешался совсем близкий голос:
— Хорогочи! Хорогочи Курумкану, приё-ём!
— Отвечаю, Курумкан! Обожди, Скальный. На связи! На связи, Курумкан, как понимашь меня?
— Да нормально. Нормально идёшь. Ты это… Чо, когда подъедешь?
— Подъеду-подъеду, только послезавтра. Как понял меня?
— Понял, понял, Хорогочи!
— Добро. Мне с работой две избушки пройти надо. Продержишься?
— Ну понял, понял. Продержусь. Куда деваться! Я думал завтра. Ладно. У тебя это… лебёдка есть? Да. И пила?
— Есть, есть, Курумкан! Верёвки есть. Сколь там кило́метров до места?
— Восемь! Восемь примерно!
— Понял, восемь!
— Там, я боюсь, шуги бы не натолкало, сверху открыто всё. Там горы. Она шиверо́й сплошной течёт! — сказал он про реку.
— Ладно, ладно. Не кипишись. Вытащим.
— Хорошо ещё рация здесь старая. А батарею! Батарею вёз сюда! Тоже там. Не знаю, будет работать — нет. Она, правда, в мешке. Закрытое всё. Может, не промокла. Ладно, давай — питание садится. До связи!
— До встречи уже!
— Давай аккуратно там! Я, короче, рацию не выключаю, пусть на приём пашет. Вы меня не орите.
— Ты это, Курумкан! — вмешался Скальный,— ты выше дыры возьми доски на ребро поставь и наморозь там, ведром прямо лей, лей… Проколеет — потом чёрта вытащите!
— Да ково доски! — вмешался мужик с позывным Сто-Второй,— ты чо, не понял, Скальный? Он же пилу тоже утопил. Ты это… Курумкан! Ты сходи туда завтра и просто жердей, просто жердей накидай,— кричал Сто-Второй,— на под-вид опалубки, и намораживай! Всё равно тебе делать не хрен, пока Вовка едет, хе-хе. Хорогочи, а руль-то хоть торчит?
— Да какой руль? Полностью ушёл. Там метра два. Ещё с нартой.
— Да… а мы прошлой весной… «армейца» утопили в пропарине, на гусей ездили… В навигатор забили место. Всё. Нашли. Зацепили, а Енисей возьми и пойди! Так и волокли, пока не остановился… Метров сто, наверное. Как раз на яме. Ещё самолов чей-то подцепили.
— На яме говоришь? — откуда-то издали заскрипел мужик с позывным Горелый.— А слышь, туда пока тащили, стерлядок случаем не набилось под капот?

Таган только хрюкнул и покачал головой.
— Ладно, мужики, до связи. Ехать завтра.— Старшой решительно выключил радиостанцию.— Щас пойдёте собирать… Да, Тагаш?

И ещё сосредоточенно полежал, а потом подкинул в печку и… сказать «выгнал» не поворачивается язык: попросил нас из избушки. Рыжик не хотел вылезать из-под нар. Я до сих пор не понимаю, было ли это простое нежелание идти на холод или он по правде что-то предчувствовал.

Обычно мы хорошо слышали с улицы, как Старшой растопляет печку: стаскивает дверцу-крышку, пихает поленья, ударяя в гулкое нутро печки, и даже запах поджигаемой бересты доносился до наших носов. Потом открывалась дверь, и раздавался весёлый окрик: «Мужики, как ночевали?»

Ночью настолько крепко и алмазно звездануло, что я зарылся в сено и свернулся в такой тугой калач, укрыв нос хвостом, что проспал и звук печи, и запах бересты, и проснулся от окрика: «Где Рыжа́к?»

Утро было седым и морозным. Напротив избушки серёдка реки не стояла и там трепетно-живо текла ребристая чёрно-синяя струя. Пар белым пластом висел до поворота. Скалы, кубически расчерченные трещинами, были как-то особенно пятнисто и грозно покрыты инеем. А голые лиственницы стояли меловыми, и их выгнутые ветви казались толстыми от куржака. Я выскочил на берег. Таган сидел на льду и замерше смотрел вдаль. Рыжика не было.

На лице Старшого стоял сумрак жесточайшей досады. Он долго орал Рыжика со всех возможных точек, несколько раз стрельнул из карабина. Взбудораженный и вдохновлённый предстоящей встречей с Курумканом, своей спасательной ролью Старшой

……

7. *В пяту* — значит в сторону, противоположную той, куда убежал зверь.

был настолько возмущён поступком Рыжика, что слова «просто гад», «вредитель» и «паразит» — были уменьшительно-ласкательные обращения.

Потом он сказал: «Да и лешак с тобой» и «пошёл ты», не буду, мол, даже прислушиваться и оглядываться, но прислушивался и оглядывался весь будущий день. Старшой завёл снегоход, и пока тот грелся, плотно укрытый брезентом, крепко увязал нарту, и мы, наэлектризованные предстоящей дорогой, заметались, в какую сторону бежать, потому что база стояла в целом пауке направлений. Старшой съехал на берег и помчался краем, льдом, косо повисшем на берегу, когда вода упала. Он нёсся в плотном бело-голубом облаке, и мы заходились за ним в неистовом скаче, а потом по извилистой, пропиленной по густой тайге дороге поднялись на гору. Там Старшой остановился у длинной кулёмки и долго слушал, сняв шапку и вытянув напряжённо шею. Слушал пристально, скусывая сосульки с усов, и капли снежной пыли таяли на красном лице.

И потом, останавливаясь у капканов, также чутко прислушивался. Но не доносилось ни далёкого лая, ни скулежа «подождите, бегу!». Только, остывая, щёлкало что-то в снегоходе, да шипела, капая на раскалённое железо, влага талого снега… И так разлётно неслось просторное крэканье кедровки, что казалось, сидела она где-то далеко-далеко, хотя была совсем рядом. На острой, укутанной в кухту ёлке шарик с клювом — поражающе маленький по сравнению с эховым обобщающе-таёжным криком…

Были старые следы, соболь не спешил бегать по морозу и, видно, лежал. Попала пара штук. В обед приехали в избушку, подросшую метровым снегом на крыше. Будто довозведённая, она выглядела монументально. Старшой затопил печку, попил чаю и пошёл по береговой дороге. Возвращаясь, он надеялся, что Рыжик встретит у избушки. Рыжика не было. Сторона, с которой мы пришли, наша дорога, выглядела особенно мёртвой, молчащей.

На следующий день к обеду мы добрались до Верхней и оттуда двинулись в сторону Курумкана. Ближе к его зимовью́ навалились будоражащие запахи, с отвычки особенно диковинно-чужие: собак, дыма, корма, всего того, что так остро и едко говорит о жильё.

Собаки Курумкана были привязаны. Курумкан выскочил в клетчатой рубахе — распаренный, лохмато-бородатый. Из двери, прозрачно и клубисто, валил плавленый воздух. Старшой стоял грозно заснеженный, белобородый и нещадно воняющий выхлопом. Нас тут же привязали, чтоб не задирались. У Курумкана была жемчужная со светлыми глазами сучка и лохматый кобель — серый с рыхлой чёрной остью.

С вечера Старшой с Курумканом напилили досок, утром поехали к снегоходу. Своих собак Курумкан не взял.

Застывшая ломанина треугольников на месте, где ушёл снегоход, была в бархатном куржаке. Доски твёрдо бумкнулись на лёд, скользя и разъезжаясь. Курумкан попробывал топорикам, как нарос лёд, и отскочившая от удара ледышка поехала по льду, и я не удержался и бросился догонять. Старшой пилил лёд, и из реза бурлила вода с пузырями, зелено заливая заиндевелый лёд со следами аварии. Хорошо, что снегоход уходил постепенно, и Курумкан успел выбраться.

Мне, если честно, не очень интересна вся эта возня с железками, которые Старшой с товарищами бесконца топят, достают и снова топят, все эти таскания то лодки снегоходом, то снегохода в лодке и чувствование ими себя необыкновенно при деле, а тебя нахлебником. У Курумкана, например, непроходимые пороги, целое ущелье километров десять. До порогов осенью доехал и упёрся. Но не на того напали: за порогами он сделал вторую лодку-деревяшку и там на ней бороздит. Заезжает весной по насту с племяшом на двух снегоходах, один оставляет в гараже, а на другом они выезжают. Какая-то вечная волк-коза-капуста.

В общем, выпилили майну. Старшой срубил берёзовый дрын с крепким сучком и пока отёсывал, умудрялся рассуждать, как он любит берёзу, хотя все её «держат не за таёжную» и признают кедру́ и лиственяк. Топорик стеклянно отскакивал от мёрзлого дерева, но Старшой терпеливо обрубал сучочки, которые и не особо мешали. Он, громко дыша, говорил, как любит, «эх, свалить берёзку и переколоть по морозцу», и что обязательно по приезде так и сделает. Сучок на толстом конце он оставил — это был крючок.

Если приблизиться к воде вплотную, белый снегоход прекрасно проглядывался в струистой толще.

— Да ты где есть-то?! — шарил Старшой в майне, подёргивая дрын. Берёзина, только ещё скользкая, как кость, в воде стала мокрая, тёплая и будто мягкая. Наконец нащупали бампер и приподняли снегоход — в прозрачнейшей голубовато-зелёной воде он ярко, в бирюзу, светился белым капотом и был будто увеличенным. Вода неслась стремительно и неровно, и белый капот дробился, дрожал… Приподняли и зацепили кошкой (до чего меня смешит это название, совершенно глупое — кошка никогда не полезет на верёвке под воду!)

Врубили в лёд крепкую вагу, к ней подцепили лебёдку и подвели доски под снегоход. Их давило течением, и одному надо было держать. Взяли снегоход крюком за бампер и потащили. Несмотря на мою нелюбовь к таким упражнениям, удивительно ладно у них получалось и красиво. Вытащили и снегоход, и сани с грузом, обильно отекающим и тут же берущимся корочкой… В багажнике снегохода оказалась фляжка, и мужиков это страшно насмешило. Открыли капот, что-то

выкручивали, потом перевернули снегоход вверх ногами, и лилась вода. Развязали груз, поставили снегоход в сани. Поехали. У избушки под навесом сняли мотор и ещё какую-то коробку. К обеду следующего дня утопший снегоход уже работал, сияя фарой и увешивая сенки синими нитями.

Вечером Старшой с Курумканом гуляли. То сидели в избушке, громко базланя, то вываливали, продолжая разговор, моментально менявший направление, как только перед их глазами оказывался снегоход, собака, лыжи или чьё-то ружьё. Один моментально спрашивал: «Ну как тебе твой снегоход (собака, лыжи, ружьё)?» — и начинал рассказывать, какой отличный снегоход (собака, лыжи, ружьё) у него самого, причём с полным осмотром, показом и приглашением испытать. До испытания *нас*, конечно, не доходило, но в один из выходов нас зачем-то отпустили. Хотя до этого категорически посадили на привязки, на что было потрачено уйма времени и слов, куда кого садить. Насидевшись, мы для начала сорвались и пробегались, а по возврату началось то, чего опасались Старшой с Курумканом. Нам с Пулькой делить было нечего, и, наоборот, нашлось масса общих тем, а вот Таган с Соболем устроили стратегический кризис. Рыча небывало грозно и вздыбив загривки, они минут десять деревянного ходили друг перед другом. С дрожью и замедленной протяжкой в движениях. Никому не хотелось быть покусанным, но Соболь обязан был показать, кто хозяин, а Таган, кто — воин. В общем, обошлось. Но за кое-кого было стыдно. Старшой при Курумкане разговаривал с нами показательно грубо, в духе «а ну нельзя смотре-е-еть, кому сказал нельзя-я. Тебе строгаю, ага!», а выходя в одиночку, слюняво и льстиво к нам примазывался.

Таган отворачивался, а когда Старшой с Курумканом удалились в избушку с чировой[8] строганиной на дощечке, Таган фыркнул, а Соболь сказал:
— Да расслабься. У моего такая же ерунда. Чуть попадёт за кадык, и пошло. То мил, то дебил… Терпеть не могу… Ещё запашина этот… Бррр…

Утром разъехались. Старшой, мрачнея, прогнал через две избушки ходом. У базы скатились на реку вслед за Старшим и, погонявшись за норкой, так и бежали тем берегом, пока не оказались напротив избушки, отрезанные полыньёй. Заостряю на этом внимание, чтобы подчеркнуть противоречивость нашего нрава: в самый трагический миг беспокойства за Рыжика, мы развлекались с норкой, а потом прозевали полынью. Усевшись на льду и слыша, как Старшой затопляет печку, возится с санями и гремит нашими тазами, мы взорали жалобно и честно, доказывая, что есть вещи, которые даже самые знающие собаки вроде Тагана не понимают. Это касается вообще пространственной геометрии: куда огибать, где что зацепится, куда отыграет, заломит и прочее.

Старшой вышел — поговорил с нами, долго махал руками, показывая куда обегать, а мы виляли хвостами и не могли понять, зачем нас гонят обратно на Курумкан, раз мы домой хотим. Собаку невозможно прогнать или заставить что-то обойти, будучи от неё на расстоянии, хотя накоротке мы понимаем всё. Много противоречий в Собачьем мире. Но главное, не противоречья искать, а Собачье любить.

Старшой это знал и поехал за нами, терпеливо выгоняя полверсты полыньи туда-обратно. Когда приближался, мы только виляли хвостами, а когда подъехал и развернулся, весело вскочили и побежали.

Не считая свежих Старшовских разворотов, у базы всё было мёртво и присыпано тонкой синей пудрой, только клесты набегали возле чайной заварки. Особенно безжизненно выглядел кутух Рыжика с ошейником на гвоздике и цепочкой. Когда прогрелась избушка, Старшой вдруг сел на снегоход и рванул по путику. Мы с Таганом переглянулись. Мороз, будь здоров какое расстояние, отпаханное без передыха и ещё полынья эта: команды нет, и можно остаться. Потом я не выдержал, больно тревожно было на душе, и побежал следом. А перед тем как побежать, оглянулся: тяжёлым взглядом смотрел на меня Таган. Уже подходил к концу тупиковый путик, тот самый, который, по мнению Рыжика, плохо «кормил», как вдруг раздался выстрел и краткий взвизг. Меня на мгновение замутило, и подкосились лапы. Потом навстречу пронёсся, ослепив фарой, Старшой: «Айда, Серый, айда!» — крикнул он громким и голым голосом. Я побежал за ним, не ощущая ни мороза, ни выхлопа и чувствуя, как нелепо трясётся моя нижняя челюсть, да и всё собачье лицо.
— Завтра гляну, чо там было, — сказал Таган мрачно. — Да понятно, копец лапе. В конце, говоришь, дороги?
— Ну.
— Там сначала россыпя́, ну камни под снегом, шапки такие прямо, и голый склон справа, а потом гарь подходит. Ещё копанина медвежья, но её засыпало.
— Да-да. Там.
— Там на земле один капкан единственный. Остальные жердушки. Знаю я этот капкан. Третий номер. Полотняный.
— Ееееее! — вырвалось у меня. Капкан был без тарелки, с натянутой на рамку тканью, нитка связывала тряпку с насторожкой. Рыжик такие не знал.
— Но. На росомаху. Это — всё. Считай по локоть. И сколько ещё отморожено… Считай четвёртый день.

……

8. *Чир* — изумительная белая рыба из отряда лососеобразных (семейство сиговые).

— Да почему его нельзя было… оставить-то? Ну и бегал бы на трёх лапах!

Видно было, что Таган не хотел разговаривать. Он и смотрел вбок. И несколько раз делал движение повернуть ко мне голову и открыть рот, но останавливался. Потом всё-таки сказал раздражённо:

— Да так не делается потому что! — и передёрнул шкурой, а потом повернулся и посмотрел в глаза. — Потому что воровитость никогда до добра не доводит. Потому что, если пошёл по капканам — затравился, вкус почуял — всё, не остановишь. Бесполезно. Добро б ещё работник был. А то тоже… Пятку сколько раз гонял. Облаивался. Я уж молчу, как говорится… А потом — сейчас промысел, самый разгар, куда его? Это просто обуза, понимаешь? Да и кормить троих… Раньше думать надо было… У нас вон Серый был, давно совсем… — и он заговорил медленней и как-то нащупав почву, — тебя в честь его́ назвали. Дак Старшой его до последнего дня с ложки кормил… Когда у него лапы отнялись. До самого последнего дня… От так от. — Таган помолчал. — А как у… как убивался потом… — Таган отвернулся, и хрипло фыркнул-храпнул, а потом добавил неестественно громко. — Так что гордись.

5. Старшой

Потом всё глубели-голубели снега, всё углублялась канава дороги, и неистовей пуржило на тепло и лютовало в морозы. Казалось, чуть звезданёт, чуть отодвинется облачная вьюшка-задвижка и стремительней улетит тепло, ухнет перепадом от минус пяти до пятидесяти.

От нас уже мало толку было, да и Старшой всё меньше ходил пешком и больше ездил и раньше приезжал. Дольше стали тёмные вечера. Дольше лежание в кутухах.

После большого и трудного круга вернулись мы на базу и на следующий день Старшой устроил выходной. Утром никуда не пошли. Хотя и погода остепенилась. Зима набрала ход и стояла такая серединка: откат от морозца на тепло, но только теплом стало двадцать пять.

С утра Старшой встал не спеша, и мы хорошо слышали его печные манипуляции и видели, как поначалу нехотя пошёл дым из трубы, потом обильно и бело повалил, а потом, взвив хлопья сажи к задумчиво-голым лиственницам, задрожал горячей струёй. Столько слоисто-плотного снега лежало на крыше, что труба еле торчала из закопчёной снежной воронки. Воронку эту я изучил, забравшись на крышу по снежному мосту с пристройки.

Расслабленный Старшой первым делом особенно сытно накормил нас, с вечера сварив нам полный добавочный таз. Совпало, что и у Курумкана оказался выходной, точнее, полувыходной, и тот был на связи, с обеда собираясь «прошвырнуться по короткой дорожке». Чаепитие Старшого шло за разговором, смехотворность которого просто поражала. Обсуждалась способность зверья соображать.

— Да чо там говорить! Ослу ясно, что они не хуже нас шарят, — искажённо верещал Курумкан, — возьми к примеру: вот снег оглубел… Как соболь знает, что его собака не возьмёт? Он же, гад, ве́рхом прошёл пару кедрин, а потом прыг и ка-а-ак по́ полу вчистит!

— Знат, что кобель не возьмёт! — продребезжал дед с позывным Щучье.

— Дак я и спрашиваю, Дяа Миша, как он знат-то?

— Да он, паря, лучше тебя знат…

— Ясно, Дя Миш! — сказал Старшой, — а как Таган знает, куда я пойду на развилке?

— Мужики, вы чо как маленькие? — вмешался бубнящий будто в колоду Дашкино, — вы в курсе, что медведь головой пробует толщину крыши в берлоге? Привстаёт и пробует! На случай, если через крышу катапультироваться придётся!

— Да ладно те, Дашкино! Ты с нар давай на путик катапультируйся! А то сидит тут.

— Ты правильно, говорис, Даскино, — прокричал дед Щучье, — пробует, крепка́ — нет. Мы раз брали на берлоге, дак он как сёрт скрозь крысу вылетел, аз землю взвил! Это у вас ум. А у ево понятте.

— Да чо ты говоришь — медведь… — засоглашались мужики, — а сохат?

— А ушкан? — крикнул Щучье про зайцев.

— Ладно, вас не переслушаешь, — сказал Старшой, попрощался и вышел на улицу с пилой.

Он любил берёзовые дрова за жар и несмолистость. За лето просохшее полено шло с растопкой — с завитой каменной берестиной, которую Старшой с хрустом отрывал, и этот утренний звук мы хорошо знали. Берёза — особый разговор. Бледно-жёлтая затёска на ней странно глядится среди снега. Верхний слой бересты отстаёт лопнувшим пояском и нежные ошмёточки, кудряшки-гармошки теребит ветром. Бывает и поплотней слоёк, в розовинку. Мы любили кусать, играть ими и, ткнув носом под отставшую шкурку, — удивляться, какая шершаво-прохладная сама берёза и будто влажная. До чего нежна природа, пока не оступишься.

А теперь всё по порядку. Хозяйственная возня отвлекла меня от тягостных раздумий. По случаю праздника мы с Таганом получили по мёрзлой щучей голове, которую грызли, кровя дёсны, но с азартом. Таган грыз у избушки рядом с колочной чуркой, а я отбежал подальше, добыв сразу двух ушканов: был застрахован от нападения Тагана на случай экспроприации у меня «щуччей головы» и присутствовал при хозработах на приизбушечной территории. Потому что Старшой пошёл туда же с пилой и вовсю отаптывал берёзину… Я расположился на снегоходной дороге метрах в двадцати под другой берёзой, так что видел Старшого с его приготовлениями, контролировал Тагана и мог

в случае его нападения в сжатые сроки достичь Старшого, поскольку и туда вела дорога.

Удивительно, как хороша в выходной щучча голова, даже самая мёрзлая, и как странно бела берёза, и как светло-жёлты опилки на снежном фоне. А звук пилы на морозе особенно шелестящий, дребезжащий и словно обёрнут во что-то шуршащее — подумал я, и даже пожалел, что сейчас нет такого мороза.

Чтобы лучше понять дальнейшее, надо усвоить три обстоятельства. Одно из них — отношение собак к лесоповальным работам. Собака совершенно не боится падающих лесин, и даже, наоборот, вертится рядом, потому что… Вот никогда не догадаетесь, хоть мы об этом и говорили. Собака не боится такой лесины, потому что у неё чёткая увязка с добытым, но застрявшим в ней соболем. И когда охотник валит кедрý, пихтý, берёзу, она, едва дождавшись, когда лесина ляжет, уже суёт туда свой нос. А иногда и не дождавшись. И неважно, что лесина голая и с виду пустая — важней правило: проверь.

Теперь второе, очень важное обстоятельство, о котором я вам также рассказывал. Оно состоит в том, что соображения, куда какая полетит лесина и обо что сыграет или как вагой задрать снегоход и как работает двигатель внутреннего или внешнего сгорания и прочие кривошипно-шатунные штуки… — так вот эти соображения я называю «коленвал-коза-капуста» и болею от них неизбывно. Разве только могу объяснить, куда идёт шатун. Он идёт в избушку хряпать меня и охотника.

И наконец три: собаку нашего воспитания, сидящую на расстоянии от хозяина, ни окриком, ни угрозой нельзя заставить переместиться или отбежать с места. Вы скажете: её можно позвать. Я отвечу: да, можно позвать голодную собаку, можно позвать собаку, стосковавшуюся по ласке или соболиному следу, можно многое. Но позвать собаку, которая ест щуччу бошку, нельзя, потому что она решит, что щуччу бошку хотят отобрать, так как у хозяина с такой собакой чёткая увязка: собака щуччу бошку спёрла.

Предчувствую упрёки, что, похоронив брата, я затеял игры в щучью голову и погряз в литературном созерцании. Так вот такой вывод — суть полное непонимание собачьей сути, а суть эта в крайне весёлом нашем нраве, который по сравнению с нашей трудовой и, я бы сказал, даже героической составляющей выглядит по-детски, хотя на самом деле лишь уравновешивает одно другим. И это врождённое веселье и есть ядро нашего Собачьего, за которое нас любят, подзаряжаясь искренней нашей энергией. Хотя много всего в нашем характере. Например, мы обожаем валяться в снегу и смешить не знающих, что это обычная чистка одежды. При этом наряду со снегом можем выбрать в качестве коврика мерзейшую пропастину-тухлятину. Рыжик, правда, вычитал, что это для скрытия хищного запаха от будущей «жертвы». Ложь. Просто иногда хочется в дряни поваляться. Не всё ж чистеньким бегать.

Так вот режущий звук бензопилы… Вонькое облачко. Мёрзлое дерево. Острая цепь. Дрожь по стволу, которую и на расстоянии чувствую. Слабенькое, будто севшее, зимнее небо.

Старшой в куртке-суконке, оранжевая бензопила и два дерева рядом: берёза с развилкой у вершины — левее, и ёлка — правее. Он взялся валить берёзу. Отоптался… Поражаюсь, конечно, как он всё делает. Мастерски. Со стороны, куда валить, то есть с моей, он двумя резами выпилил дольку и выкинул её моментальным движением шины и не глуша пилы. Потом заорал: «А ну вали оттуда!» А я положил полусъеденную голову, куснул и пожевал снег, повилял хвостом и снова взялся за голову, крепко сжав лапами.

Зазудела, взревев, пила и Старшой заорал: «Серый! Серый, блин, пшёл отсюда! Серый ко мне! Серый, козёл!» Я продолжал держать голову, а когда лесина повалилась, отпрыгнул, и, предвкушая, как сунусь в неё в поисках белки или соболя. И вдруг что-то сбилось в мире — и падающая лесина замерла с морозным треском, и раздался взрык Старшого, переходящий в кряхтящий полустон. Старшой не бежал к вершине, высматривая соболюшку, а лежал на спине с перекошенным лицом, и левая рука сжимала и разжимала снег.

Мутит, но попытаюсь всё объяснить по порядку. Берёза была с развилкой на конце. Не довёл ли Старшой рез, отвлекаясь на меня? Мёрзлая ли лесина, будучи кривоватой, раньше времени сыграла-скрутилась, подорвав волокна и уйдя в сторону от места, куда целил Старшой… Но знаю одно: когда она пошла, он глядел на меня и даже кинул в меня верхонку, а в этот момент лесина упала развилкой на другую берёзу и, съехав по ней, соскочила с пенька и уткнулась в снег под углом. Всем весом. Правая нога Старшого удобно стояла у шершавого комля ёлки, он не успел её отдёрнуть, и её припечатало всей силой падающего мёрзлого дерева.

За что люблю этих мужиков и с ними пойду хоть куда, хоть под пули — Старшой всё как положено сделал. Комар не подточит. Вначале его, видимо, мутило от боли, но он чуть отлежался, дотянулся до пилы и завёл. Всё ступеньками делал: дёрнул — не завелась, сыграла на весу без упора, рывка не получилось. Полежал, кряхтя, что-то приговаривая, морща побелевшее лицо. Снова приладился, дёрнул и, заведя, чуть подержал на груди, откинувшись на снег. Потом стал пилить, но смотреть было страшно: этот зуд, гулко отдающийся по стволу, упирался, лился в зажатую мякоть ступни. Чтобы легче расшатать, ослабить стволину, он сделал два реза, две чурки, два колена, и самое трудное настало — выбить их свободной

ногой, выломить углом и мгновенно вытащить ногу и откатиться. Из-под берёзы, которая всем весом съедет, дообрушиться. Всё сделал. Выкатился. Попробовал стать на четвереньки и ползти, но нога не давала, цеплялась. Тогда перевернулся на спину и полз на локтях, подняв ногу, и ещё и пилу тащил. Они все в этом. Такие мужики. Ещё дверь в избушку открыть надо было. Но дополз.

Ногу отёком разбомбило. Резал бродень. Нас позвал. Я лизал ногу. Кусок оленя… Лилово-кровавое.

Заполз на нары и включил рацию. Ещё недавно все орали, как дурные, а теперь стояла тишина, только что-то мерно тикало, да переговаривались уродливо-утробно радиолюбители: «Батарея, батарея—я турбина, как принял?» Наконец Старшой докричался до женщины с позывным «Улукан», которая сказала:

— Да я кого вызову? Сама сижу тут. Нас тут семь домов. Только вечером связь по нолям.

У Старшого был младший брат Валя—давно горожанин и коммерсант. Он дал Старшому на охоту свой спутниковый телефон. Телефон брал сигнал лишь на открытом месте. Старшой уполз на берег и вызвал санзаданье. Нас увезли в район.

6. Галетка

Старшому лечили множественный перелом стопы, а нас с Таганом главврач отправил в посёлок на проходящем вертолёте. Связали верёвкой, и мы были как дружка веников. Вертолёт прилетел утром пóтемну и подсел только ради нас. Нас выкинули, и мы ломанулись, чудом нигде не зацепившись, и только у нашей ограды закрутились за штакетину, где нас отпутал маленький Никитка, идущий в школу и крикнувший маме: «Папа, наверно, Рыжика с собой в больницу взял!»

Этот путь в «дружке» с Таганом был для меня особым. Таган наверняка не придал этому значения, но я внутренне сиял. Что Таган при всём своём, как мне казалось, презрении ко мне, оказался увязанным со мной воедино и вынужден был послушно подёргиваться на мои рывки.

Старшого привезли вскоре с загипсованной стопой. Догадываюсь, в каком он пребывал убийственном огорчении, когда пропадал сезон и надежда на заработок. Не считая нас, на его шее сидели жена, двое детей, дочка и сын, и прорва кручёных родственников.

Прошёл Новый год. Капканы стояли непроверенными второй месяц, и вдруг в начале января после перерыва в несколько лет приехал брат Валя и взялся «запустить капканья». Приехал он на своём снегоходе с большого посёлка, куда, в свою очередь, приехал по зимнику на своей же машине и с прицепом, у которого по дороге что-то оторвало. В тайгу он тоже собирался на своём снегоходе—не в меру разлапистом, малиновом с искрой и кучей штук, которыми так гордился, что рвался в бой. У Вали было условие—берёт собаку, а без неё не поедет: то ли боялся, то ли хотел компании. Понимаю и поддерживаю: с собакой в тайге веселей.

В эту пору, а стоял морозный январь, собак не берут: толку от нас нет, только лишняя готовка, да постоянное ожидание, если далеко ехать. Новые снегоходы, проскакивая наледи, несутся с огромной скоростью, которая теряет смысл, если всё время вставать и ждать собаку. Старшой не хотел кого-то из нас отправлять, но Валя упёрся, и пришлось отправить меня. Я другого и не ждал. «Нашли молодого»,—поворчал я для форсу, потому что, как всякая молодая собака, поддерживал любой поход и стремился в дорогу. Предусмотрительный Старшой отправил Валю в паре с Курумканом, который промышлял выше нас по реке. Встал вопрос: как со мной быть, чтоб не ждать. Старшой и тут нашёлся: дал огромный сундук, который якобы давным-давно собирался забросить на базу «хранить хахоряндии, да и сидеть кудревастенько». В общем, меня предполагалось везти в сундуке. Хорошенькое дельце. В сундуках не ездили! Как не вспомнить Рыжика… Поеду как хахоряндия… Хоть не как веник.

Валю снарядили нарточкой, куда воткнули сундук. Курумкан вёз бензин в канистрах, полные сани. Меня решили сначала «добром прогнать», чтоб успокоился и не норовил «куда-нибудь дунуть и влететь Коршунятам в капкан», а потом уже упечь к сундучину. Старшой, надо отдать ему должное, натолкал туда сена и ещё мёрзлого налима бросил («Чтоб не скучал!»).

С утра подъехал Курумкан, и вот стоим у ворот: Курумкан на своём белом исшоракнном «армейце» со стеклом, зашитым проволокой, и с багажным ящиком, грубо свёрнутом из жести. И к ящику приклёпанный чехол для топора. Камусные лыжи засунуты под верёвочку сбоку вдоль подножки. Лежат как оперение—шкурой наружу, пятнистые, выразительно-живые. Валентин на малиновом огромном агрегате, с широченным разносом лыж. На что я пень в технике, и то подумал—как он поедет по Старшовским дорогам? «Армеец» Курумкана пах железной окалиной и подгорелым маслом, Валин «малинник» распространял сложнейший букет: запах неизношенной резины, тоже масла, но какого-то вкусного, добротного, как выяснилось, специального американского с запахом клубники. Пластиком и ещё чем-то… Наверное, достатком—подумал я. Поджарый Курумкан пах выхлопом, костром и шаньгами, а располневший Валя—ароматической салфеткой и утренним вискарьком.

Дальнейшее пропускаю, ибо был упакован в сундук и выпущен, когда съехали на реку. Сначала «передóм» пошёл Курумкан, несмотря на поползновение Вали дать «копоти» на своём «малиннике», который был в два раз мощнее, в связи

с чем называлось умопомрачительное количество непарнокопытных: «кобыл», «кляч» и «коней», которые, как я понял, как раз с мощо́й и связаны.

Курумкан ехал передо́м, пока была дорога, а когда пошёл цели́к, пустил многокобыльного Валентина, настрого приказав останавливаться только на берегу и залавке, потому что «вода под снегом» и что если вода — то «тапок в пол и вперёд». Меня пустили «добром прогнаться». Я бежал, нюхая едкую клубнику и вспоминая рассказы Тагана о прежних временах. Выходило, что раньше при встрече охотники говорили о лыжах, нартах и кулёмках, о бересте, камосе, дёгте, а теперь об особенностях бесконечного числа снегоходов, бортовых каких-то компьютерах, сканерах и том, сколько они стоят. И мне казалось, что если разговорами о коже и дереве охотники поддерживали тёплый собачий мир тайги, то в последних дебатах не было ни объёма, ни привязки к месту — лишь стынь технологий и уход от смыслов.

Валя решил резануть с мыса на́ мыс, благо у «малинника» было «дури немеряно» и он так «натопил», напустив клубники, что превратился в сизую точку. Потом вдруг остановился, и я услышал ругань подъехавшего Курумкана. «На хрен встал здесь! Вода кругом! Видишь вон полынья у мыса!» Валя ответил: «Да лан, Толян, давай пофотаемся — смотри место козы́рное! Мы в том ручье с батей медведя добыли». Картина и впрямь ворожила: кедровый увал, волокнистая полоса пара из полыньи и жёлтый свет солнца, вышедшего из-за сизого длинного облака.

Под снегом была вода, и я прилёг выкусить лёд, налипший на шерсть меж подушек. Валя достал фляжку, но Курумкан пресёк порыв, сказав «что ехать и всё потом». И, мол, всё, хорош, поехали. Валя рванул, уйдя в точку, а Курумакан с тяжеленным возом засел в наледь. Вскоре явился Валя и попытался вытащить Курумкана, но зарылся ещё хуже. Булькал, истошно газуя в зелёную траншею. «Не газуй, бляха!» — орал Курумкан. Вале мешал карабин с оптикой, он его то снимал и втыкал в снег, то надевал, и на прикладе образовалась ледяная блямба.

Курумкан взял бразды, сел на «малинника», потихоньку раскатал колею и, моментально освоившись на нём, вытащил и свой снегоход и перецепил сани… На чём заканчиваю, ибо началась коза-капуста. А главное, что Валя хотел похвастаться «малинником», а оказался посрамлён. Только и сказал: «Да, вот что значит профи!» И, полный, стоял кулём в пухлом сизом костюме с кучей карманов и ярко-жёлтых молний. С оленем, выштопанным жёлтой ниткой. Олень был не северный. Марал, наверное. Или изюбряк.

В конце концов выехали на твёрдое, околотили снегоходы и посадили меня в сундук, так что дальнейшее путешествие я могу описать лишь по рёву и дерготне Валиного снегохода и крикам:

— Ты чо блин! Смотри хоть куда едешь-то. Маленько в дыру не влетел! Здесь же промывает!

Или:

— Ёооо! Стой-стой-стой! Валя, ты чо газуешь?! На хрен ты полез сюда?! Не видишь зелёное всё, водищщу выдавлят, морозы, лёд садится. Ямки заливат. — Выпустить может его?

— Да не хрен. Пускай сидит. Хе.

— Новая порода — сундучная лайка. Кстати, как агрегат?

— Твой-то? Зверь.

— Покупай!

— Гуска узкая. А ты продавать что ль надумал?

— Ну. Чо, погнали?

В конце концов меня выпустили, и мы заночевали в избушке. Наутро всё повторилось. В общем дотрясся я в сундуке до нашей базы. Вечером Курумкан с Валей праздновали приезд, а утром расстались. Курумкан уехал дальше, а мы с Валентином двигались уже тайгой, проверяя и закрывая ловушки.

Валя ехал трудно. Скоростной «малинник» с широченным разносом лыж не вписывался между пихт и кедров и всё время застревал. На дорогу понагибало берёзок, одавленных снегом. Вале приходилось слезать и, утопая в снегу, рубить мёрзлые арки. Топор звенел, отскакивал и однажды вылетел из руки в скользкой рукавице, и Валя его еле нашёл в пухляке. Валя наехал на согнутую дугой берёзу и повис лыжами. Берёза лежала: слева комель, справа вершина. Валя срубил правее дороги, и обрубок ствола, на котором висел снегоход, вырвался, выпрямился и сильнее снегоход задрал. Одет Валя был слишком тепло для леса. Он то и дело садился на сиденье и, сняв стёганый треух, тяжко дышал. Тёк пот с красного лица. Лицо полное, круглое, с двойным подбородком. Звал меня, гладил, качал головой: «Смотри, упрел как… А у тебя-то четыре ноги? Четыре? Да? А какая морда у тебя… Какой нос кирзовый, хорошая собака, хорошая… найдёшь мне соболя? Или глухаря? Найдёшь?»

Глухаря я нашёл — прямо на нашей дороге на кедре́. Валя добыл его из своего оглушительного карабина. Подбежал радостный, возбуждённый. А дальше…

Дальше произошло событие незначительное, но для меня символичное. Все вы знаете картину отличившейся собаки: выражение её ворсистой морды, открытой улыбающейся пасти и сияющих радостью глаз, когда она стоит по-над добычей, и уже оттрепав её, нет-нет да пожамкает и лизнёт. И вся ходит ходуном, а когда глухаря или соболя подберут и держат на высоте, прыгает, пытается достать, и как наполнено счастливое это прыганье трудовой гордостью.

Валентин стал меня хвалить, и я, зная, что всё правильно сделал, из вежливости повилял

хвостом. А раньше, в самый разгар возни-прыганья Валентин, собираясь подобрать глухаря, вдруг зашарил по многочисленным карманам, достал из кармана галетку и сунул мне в рот. Я был настолько разгорячён, что поначалу не понял, в чём дело, и отторг галетку, даже не подержав во рту, хотя, возможно, со стороны это выглядело, что я выплюнул, выкинул и отверг, а она отлетела—никчёмная. Хотя в другой раз я бы полцарства собачьего отдал за такую галетку.

Валя, видимо, вычитал в каком-нибудь руководстве про «поощрение питомца лакомством» и, подобрав галету, несколько раз попытался, придержав меня, всучить, всунуть её в горячую пасть, где всем—и зубам и языку—было не до галеток, и я помню, язык её даже выталкивал—насколько несовместима была это галетка с запахом глухаря, моим азартом и всем духом происходящего. С грозным и героическим падением глухаря, хлопаньем крыльев и сломанной веткой. И с моей нервотрёпкой, ибо я переживал, не смажет ли Валя, зная, как он управляется с «малинником», и опасаясь, что с новым девственным карабином будет то же самое. Да и оптика вызывала сомнения на таком коротке, а Валя полчаса снимал с неё чехольчики и совал по карманам, борясь с молниями.

Старшой в жизни не тыкал нам «лакомства», во-первых, потому что для него это наверняка отдавало инструкцией, а во-вторых, потому что он полностью разделял наш восторг добытчика и был его частью, а подачка выглядела кощунством. Да и несоразмерен красавец-глухарь с галеткой! Калибр разный!

Задним числом я не раз пытался представить, как это выглядело со стороны. Как Валя пытается мне засунуть в рот галетку, и вместо порывистого хватающего, вырывающего моего движения—встречает отторжение. И как меня прострелило детским ощущением—когда суют таблетку, и я её выплёвываю, выталкиваю языком… И как потом жалко стало бедную галетку, но я недолго грустил, зная, как прекрасно съедят её мыши.

Почему я так заостряюсь на этом эпизоде, потому что мне докладывал об этом Кекс, Старшовский кот, к которому перехожу, поскольку больше о походе с Валентином сказать нечего. В его описание я встрял за ради галетки. И выходит, она своё взяла. Так вот у Старших (так буду называть семейство Старшого) три кошки: Мурзик, Пуша и Кекс, в чьём названии есть детский след, и это понятно. Дак вот с Кексом мы вместе росли. Нас с Рыжиком щенками тётя Света затаскивала домой, Кекс тогда был котёнком, и мы играли безо всякой неприязни: в ту пору в голову не приходило собачиться (и кошачиться) из идейных соображений. Оба были мировоззренчески девственны.

Во мне дело или в Кексе, но совместные игры не забылись, и, бывало, встретившись на улице, мы с Кексом общались запросто, если, конечно, поблизости не было Тагана. Кекс эти беседы любил, тянулся к Собачьему, а я имел политический интерес: поскольку «в и́збу» меня не пускали, а через Кекса я мог узнавать, о чём говорится, так сказать, в эшелонах власти и к каким переменам нам, собачьему люду, готовиться.

Так вот по приезду, точнее, прибегу в посёлок, а прибег был потому, что сундук сгрузили и я бежал, а Валентин ждал… Так вот по прибегу в посёлок и по волнам, исходящим от Старшого, а собаки к волнам чутки, я понял, что нечто происходит. Вскоре я встретил Кекса, который доложил обстановку. В частности, из его слов следовало, что Валентин на меня «нажаловался», что, мол, «да, хороший кобелёк, рабочий, глухаря нашёл, но и тоже фрукт, пренебрёг» его даром и повёл себя «невоспитанно», «нос задирает» и так далее. Я уверен, Кекс накрутил отсебятины и, таким образом, разрыхлил почву для дальнейших отношений. По обыкновению начал ратовать за Собачье и повёл разговор в вечном своём духе: «Эх, ну заставите вы меня на охоту пойти! Конечно, мы тут зажирели…» и так далее. Мол, нам хорошо: в тайгу ушли, а у него забот и ответственности полон рот, и вроде как мы легкомысленные, а он такой отягощённый. И грозно добавил:

— Нынче точно соберусь. Так что готовьтесь,—и добавил другим тоном, будто предыдущую тему он отработал для формальности.—Да, дак вот про галетку-то всё цветочки, а оказывается Дядя Валя-то не спроста приехал и дело пахнет… в общем это больше вас касается… дак вот…

В этот момент Кекс, зашипев, взвился по столбу и шмыгнул под крышу веранды, потому что раздался громовой скрипотопот Тагана, вернувшегося с охраны западных границ нашего участка. Схватив и завалив меня, Таган зарычал:

— Чо с ним тёр? Смотри ещё раз увижу, даже на варежки не пойдёшь!

И Таган выронил мой загривок примерно так же, как я знаменитую Галетку, и, ядром стрельнув за ворота, уже задирал ногу над чуркой. Зыркнув на пробегавший кортеж младшего Коршунёнка, едущего по воду и состоящего из трёх псов—двух нормальных и один хаски, рявкнул: «Чо пялишься? Воротьев на видел? Вали давай!» и взрыл снег задними лапами, засыпая встречные аргументы.

Весь вечер я гулял и размышлял над выплюнутой галеткой. Как быть в таких случаях. Может, брать, чтоб не обижать? Не выглядеть чистоплюем? Ведь Валя отблагодарить хотел! Как мог. Но как объяснить, что я не за галетку работаю?! Не знаю… Мне кажется, тут вера первому движению сердца…

Я проходил мимо веранды и услышал хриплый нарастающий мяв. Кекс опрометью бежал мимо с прокусанным ухом и расцарапанной мордой: «Короче, мне тоже нагорело… от Пушки и Мурзика.

Теперь если понадоблюсь — выйду, придавишь меня, я заору. Ну и поговорим. Только не сильно дави-то. Давай! Через пару часиков погавкай».

Я погавкал в указанный час. Таган как раз убежал на охрану юго-восточных границ. Там проезжали трактора с деляны и елозили хлыстами… С Кексом я всё сделал, как договаривались:

— Помогите! Задавили!

— Попался, козёл! Не дёргайся! Чо тут шарисся?! Нашёл диван! — сказал я и замер: вылетел Таган, скакавший с обходом:

— Чо он там? Буксует? Помочь?

— Да не, дя. Ровно всё. Разберусь!

— Дави его на хрен! Я погнал тогда, там ста́ршие Коршунята оборзели.

В общем Кекс просипел, что Валя приехал неспроста, что продаёт «малинник» и что «малинником» дело не кончается…

— Да что там такое?

— Не переусердствуй! Дорвался… — сипнул Кекс, — брат хочет долю продать! Всё, до связи! — вырвался Кекс и с криком «Задавили!» взмыл под крышу веранды.

Вечером братовья парились в бане. Валя бегал в снег, а Старшому не позволяла нога, но оба так базланили в предбаннике, что мне не стоило труда расположиться поодаль с верным видом и всё слышать, тем более и Валя после похода стал мне «немножко хозяин».

Валя был довольно нудный брат и буквально заталкивал в Старшого свои «сгустившиеся обстоятельства», время от времени прерывая словами: «— Давай, накладывай» и выпив, продолжал возбуждаться и резиново нудить, как у него «всё рухается» и как его прокуратура «крепит».

Короче, история такова. Валя ещё по молодости уехал в город и пустил там корни на охотничьей почве. У него на зоне был знакомый майор, благодаря которому Валя наладил там выпуск капканов и аквариумов и открыл два магазина — охотничий и зоо, где у него, по словам Тагана, даже ручной крокодильчик жил. Благодаря, кстати, которому я всё это и запомнил. Крокодильчик меня поразил, и страшно хотелось по нему поработать. Потом магазинов развелось как грибов, ушёл майор и начался запрет на ногозахватывающие капканы, так как Россия подписала международную конвенцию. Тогда Валя решил выпускать гуманные капканы и припёрся к Старшому испытывать их с канадцем. Заварилось дело. Ловушки надо было то ли сертицировать, то ли портифицировать, не помню точно, но знаю, что капкан считался гуманным, если зверёк погибал меньше чем за четыре секунды… или двадцать четыре — точно не помню. В общем гуманный капкан.

А теперь разберёмся почему собаки ка-те-го-ричес-ки против гуманных капканов?! И что это за капкан и как он работает? А так: зверёк проходит через рамку, которая мощнейшими пружинами складывается и шарахает за тело так, что зверьку приходит конец. Пружины столь сильны, что охотниками, говорят, отшибало пальцы. А теперь давайте вернёмся в нашу осень и вспомним краеугольное мероприятие, от которого, как мы теперь знаем, столько зависит.

Да. Представьте, как ставить гуманные капканы на собак! Цинизм и тупорылость канадцев в том, что они не подумали про собак! О норках и соболях валютных подумали, а о собаках — нет! Ни за четыре, ни за двадцать четыре секунды Старшой не соскочит с нар, не нашарит калошки и не добежит до молодой собаки, попавшей в гуманный капкан. А вы представляете с какой силой лупанёт по лапе, если соболя сплющивает в лепёшку?! Лапу-то отшибать будет сразу! Вот к чему приводит бездумный перенос на нашу почву заморских начинаний. Факт существования таких псевдогуманных капканов меня возмутил сам по себе, но когда я узнал про конвенцию и Валины капканные планы — у меня произошёл нервный срыв. Хорошо, что отходчивость — ценнейшее свойство Собак.

В общем майор ушёл, Валя «вло́жился» в гуманные капканы, а дальше началась коленвал-коза-капуста с долгами, кредитами и какими-то приставами, которые приставали к Вале, и ему понадобилась куча денег. И вот он продаёт «клубничник» и десять литров малинного масла. В смысле наоборот… А дальше начинается самое плохое.

Выдохнем.

Охотничий участок Деда Вовы принадлежал пополам двум братовьям — Старшому и Валентину, таким образом, что у Старшова была своя половина, а у Валентина — своя. Но Старшой по обоюдной договорённости опромышлял обе части. Теперь грянуло: у брата Вали плохи дела, и он собирается продать свою половину.

Деньги требовались срочно, поэтому Старшой стоял перед выбором: либо самому выкупать, либо долю выкупят. А желающих было прорва. Но совсем плохое, что соседями с Валиной, ближней к посёлку стороны были те самые Коршунята — сыновья одного коммерсанта, ребята циничные и технологичные. Тайга была им лишь средством «поднять денег». Гребли всё, били оленей табунами на продажу. С весны до осени хлестали с туристами рыбу. И были настолько капроновосентипоновые, что Старшой говорил: «Это не промысловики, это — роботы…»

Роботы заезжали на охоту по снегу на шведском вездеходе. А собачья политика такая: «Мы всё просчитали — не рентабельно. Она базлает, я пока иду до неё и обратно — лучше двадцать ловушек насторожу».

— Валя, ты чо! Какие Коршунята? Там на Хаканачах меж двух сопок как раз самый ход соболя,

они там огород поставят и мне всё перекроют. А весной за сохатым и оленем сто пудов ко мне нырять будут! Я же не буду там сидеть безвылазно. А на речке баз понастроят, будут турьё возить. Вообще перекроют кислород. И ещё выезжать через них. По моим избушкам. Да и я там сколько сил вло́жил сил. Кулёмника одного нарубил сколь! Да если б и не влаживался. Один хрен. Мне такие соседи не нужны!

— Да понятно, брат! — отвечал Валя, — но ты меня пойми! Меня! Мне край! Ты меня ставишь!

Старшой крякнул:

— Да ясно всё. Короче, не продавай никому. Всё. Заберу.

— А я не тороплю. — расслабленно отвечал Валя. — Неделя есть. Не тороплю. Накладывай! А Серый твой — гордец! Горде-е-ец! Как он галетину выплюнул!

На этом моё развед-везенье кончилось. Во-первых, едва я пытался давануть котофея, как появлялся грозный Таган, и Кекс взмывал под крышу. А во-вторых, нас с Таганом посадили в вольер. И вот перед глазами сетка с прилипшим собачим пухом и помётом. Она пузырём продавлена нашими лапами — собаки любят кидаться на сетку, причём в одном месте — где просится прыжок после кругового пробега. Поскольку решалась судьба нашего охотничьего будущего, мне пришлось всё выложить Тагану. Он взъярился и для начала сделал несколько кругов по вольеру с бросками на сетку. Потом подошёл и рыкнул больше себе в укор:

— А я чую неладно! — потом мощно взрыл снег задними лапами, — Кекс ещё этот в мороз завылазил. Я же понял всё, чо смеятся! Тоже конспираторы. А то я смотрю Коршунята приборзели. Ага. Хрен вам в норки. — Он пару раз метнулся по вольеру, и снова взрыл снег. — Да ты понимаешь, на что ты меня толкаешь?! С Кексом этим… А если узнают?! Те же Коршунята. Это же нарушение всех понятий. Башка пухнет с вами. Кошарня ещё эта…Они и не жили здесь… Понаехали… Будто бы сами с мышами не справились! Чо они там опеть? — и он кивнул на избу. И помолчав, передёрнул шеей:

— Лан. Дави Кекса! — и скрылся в будку, гулко стукнув внутри сильным телом и задёрнув брезент.

Вечером Кекс подскочил к вольеру и, увидев Таганий нос, заходивший резными клапанками, остановился в недоумении.

— Скажи пусть лезет — не тронем. И орёт погромче, — пробубнил Таган из будки: — Позорище.

— Точно не тронет? — тихо спросил Кекс.

— Да, точно, точно, — успокоил я, — давай быстрей.

Кекс перескочил сетку, и я выдавил из него такое, что даже Таган ахнул.

7. Сочинение

Всё нижеследующее является моей художественной версией, реконструкцией произошедшего, поскольку Кекс в перерывах между мерзопакостным своим воем передал только основные вехи событий, и было бы унизительно для повествования передавать лишь эти, извиняюсь за каламбур, кошачьи выжимки.

Для начала семейный пейзаж Старшого. У Старшого все тянули кто куда: жена в одно, подрастающая дочь в другое, тёща в третье, а шурин, детина Дяа Стас, которого все звали Диастасом, вместо того чтобы жениться, был большим фантазёром, попивал пивко и большую часть времени проводил за экраном, откуда выуживал прорву разнообразных сведений и мыслей, кои и направлял на мозги чад и домочадцев.

Донимал Старшого купить вездеход, как у Коршунят, поставить в него печку, прорезать в полу люк и через него ставить и проверять капканы «на подрезку», не слезая с банкетки и путешествуя по профилям, когда-то пробитым экспедицией.

В описываемую мною пору на просторах нашей охоты царило два взгляда на роль собак. Один, скажем так, наследный, предполагал широкое наше использование, как в осенней охоте, так и в остальные сезоны, а в случае нужды и упряжно́е подпрягание нас в аварийной или детско-забавной ситуации. Это было внешним проявлением нашей роли, а главное заключалось вообще в нашем наличии и в том значении, которое придавалось общению с нами домочадцев и подпитки их весёлым и героическим духом, носителем коего мы от века и являлись. И ещё более важное главное — в любви к нам как к части территории, завещанной предками.

Но находил всё большее распространение другой взгляд на собак, опирающийся на одно, с виду здравое, обстоятельство. Пора так называемой ружейной охоты, то есть охоты с собакой, а не ловушками, в наших сопчатых и потому многоснежных краях очень коротка, и многие заговорили, что невыгодно держать собак ради двух недель охоты. Что важней быстро насторожить весь участок, и беготня к лающей собаке — лишь помеха, ведущая к производственным потерям. И даже подсчёты приводились. В часах, километро-ловушках и ловушко-соболях, и прочьей коленвал-козе-капусте.

Самой вопиющей была теория отучения собак от работы по соболю и оставление в подмогу лишь как птичницы для добычи привады. Что касается зверовых собак, то они вообще оставлялись на откуп сугубых любителей. Допускалась трофейная охота с собаками для богатых гостей, ну и собачье-ездовой туризм с закупкой заморских собак. Будто у нас своих не водилось. Идеи эти витали в воздухе, а стараниями Диастаса внедрялись в сознание Старшовских домочадцев, и даже Старшой признавал: «Не, ну действительно охота изменилась. Понятно, по осени для

души с собачкой походить — это здорово. Но если охватом берёшь, то лучше насторожить побольше. Оно на то и выйдет. Если честно, уже прыти нет. Спина, коленки… Это у них-то четыре ноги, хе-хе. Четыре вэ-дэ». Что за «четыре вэ-дэ» Кекс не понял, просто повторил. Подозреваю, очередной коленвал… Эх… В общем всё сводилось к сворачиванию Собачьего дела на наших родовых просторах. Прилагались выкладки, сколько центнеров налима и мешков сечки уходит на одну собаку в год, на четырёх, и довод «всё это свари!». Плюс налоги на собак, которые вот-вот введут, несмотря на протесты.

Если б это было просто сворачивание! Это была настоящая угроза. Попрание веками сложившихся традиций. И особо прозорливые пророчили распад Собачьего мира и медленную, но планомерную замену наших охотничье-трудовых собак американскими туристически-развлекательными.

Кекс и вовсе говорил умудрённо, что, хе-хе, какие, мол, хаски, никто не будет вас убирать и заменять хасками и аляскинскими бала… в смысле маламутами. Всё будет гораздо грамотнее. Сделают так, что на вид вы останетесь западно- или восточно-сибирскими лайками, а вести себя будете, как баламуты… Вот в таких идейных брожениях и протекала наша собачья жизнь в начале текущего века. А теперь к делу.

Новость первая. На новогодние каникулы маленькому Никитке задали сочинение: «Почему воровать нехорошо». Никитка, которого Старшой изо всех сил приучал к таёжной и трудовой жизни, написал про «папиных собак» и про то, как «Рыжик пошёл по капканьям, а папа его застрелил из „тозовки“. Потому что воровать нехорошо». Учительница, приехавшая из города за северным стажем, исправила «капканья» на «капканы», а потом позвонила и выговорила Старшому: мол, что же Вы ребёнка к жестокости приучаете? Злющий и издёрганный неурядьями Старшой сидел с Валей за столом и только собирался поднять стопку:

— Ну чо, братка Вовка, между первой и второй?

— Помещается ещё… Да, я слушаю. Чево-о-о? Ева Архиповна, не надо лезти. Вы детей учите — и учите, а со своими собаками я сам разберусь. До связи. — И швырнул трубку на кресло. — Кобыла. Давай, Валёк.

Расстрел Рыжика Старшой от сына скрывал, сказав, что того волки съели, и правду Никитка случайно подслушал в разговоре.

Вторая новость заключалась в том, что ввиду неудачного охотсезона Старшой крепко подсел по деньгам и было непонятно, на что забрасывать весной по снегу бензин и продукты. Всё подвозилось прямо к избушкам, не надо было корячиться на лодке по порогам, да и не все избушки стояли на берегу.

Третья новость: Коршунята осаживали Валентина и чуть не требовали продать половину. Четвёртая: вроде бы Старшой договорился «за́иматься под проценты у Шатайлихи, причём сразу на всё: и на за́воз, и на расчёт с Валькой».

Шатайло были поселковые коммерсанты. Руслан — бывший охотовед, а Альбина Сергеевна Шатайло, его жена, хозяйка большого магазина, при которой Руслан был приёмщик пушнины и водитель. А для меня Альбина — прежде всего хозяйка несостоявшейся рыжиковой зазнобы Николь, карликовой пуделихи или пуделессы, уж не знаю, как правильно. Альбина была, как кряж, квадратная, с каштановыми в красноту крепко завитыми кудряшками, отёсанными с боков, и широким открытым загривком. Черты лица крупные, глаза очень красивые, карие на выкате и с розовыми, будто больными влажными белками, ресницы гнутые и лучистые и яркая приветливая улыбка. Вся Альбина в дополнительном будто покрытии — пудре, помаде, глазной краске, в кольцах, перстеньках и серёжках. В крупных, желтково-прозрачных в муть бусах… Покрытие было такое плотное, что казалось, на отдых должно сниматься, позвякивая, усталым пластом.

Норковая шуба, сидящая квадратно, а если сбоку — то от бюста углом и тяжёлым щитом до полу. Когда шла — казалось едет, покачиваясь. Шапка светлая с пятнышками, нерпячья — косой шар с козырьком и меховыми же бубенцами. В общем, броня и каска. Под мышкой сумка с золотистыми и сложными для собачьего описания железячками и свисающим ремешком.

Николь она тоже подбирала под мышку, и та глазела чёрными глазками и семенила вхолостую лапками. Вот, кстати, откуда аромат! Рыжик наивно думал, что Николь умеет «пользоваться парфюмами», а она просто, как сказал бы Таган, «натягивала» запах хозяйки. Стриглась под льва, то есть оставляла круглую гриву и манжетки на лапах, а всё остальное брила до волнистой розоватости… тошно, не могу, ну и носила кафтанчики или тулупчики, как правильней… Ярко-синий с лжекарманчиками, погончиками и резинками на штанинах. Какой-то ещё юбочковидный, с меховыми манжетками и шнурковой затяжкой вокруг хвоста. И ещё с тапочками… Меня просто трясёт, когда Альбина этой Николи говорит: «Фу!»

Руслан был рослый, добротнейший и как, собака вам говорю, предельно-породистый. С крепким лицом, литым и рельефным одновременно, с подбородком замечательным, синеглазый, с чёрными усами и плотными, коротко стриженными волосами — окрас соль с перцем, перца больше. Выглядел моложе Альбины, и весь какой-то сытый. Говорил негромко, чуть заикаясь. У него было два дела: ходить от Альбины на сторону и покупать технику — катера, машины и снегоходы. Компанию

любил, умел с мужиками посидеть, но всегда имел святое одно дело, от которого плясал в планах. Называлось оно: «Перевезти Альбину». «Ща, мужики, всё можно. И посидеть можно. Я только Альбину перевезу». Будто она была гарнитуром с сервизом, который нужно бесконца перемещать.

Он её перемещал то из дому «до бабушки», то от «бабушки до внуков», то от «Ларисы» до дому. Перемещал с сумкой, розовым телефоном и подмышечной Николью. Перемещал постоянно: то в её магазин «Клондайк» («Колондайк» в народе), то в совет, то в не совет, а то готовить школьников к «Году животных», поэтому Руслан освобождался, только когда перемещал Альбину окончательно и убеждался в её полной общественно-семейной загруженности.

Альбина была из тех, кто расцветает на людях, словно ей скучно в посёлке, и она, выкатясь от телевизора на свет, стремится и там продолжить цветной пыл и гомон. Надо спектакль в клубе—поставит. Какая-то комиссия—она там обязательно. Придёт с папкой на локте: «Где у вас тут щиток, Руся, посмотри». И говорит так с напевом, с посылом… «Как ребёночек?» И улыбается завораживающе. Глаза светятся, ресницы распахнуты. «Да. Сейчас налог вводится, надо кошечек заявить и собачек всех, не забудьте. А вот брошюра. Мы тут с собачкой на выставку летали. Полистайте и приобщайтесь». Старшой, помню, брошюру выкинул в снег, и я, как сейчас помню, странные буквы: «West-Siberian animals under protection». Дальше, правда, пошло легче: «Региональная организация защиты животных. Центр правовой зоозащиты… Основное преимущество свободы—это то, что высшая граница обязанностей человека—позаботиться о правах животных. Когда это право на свободу гарантировано, то отпадает ответственность человека за дальнейшее наполнение…[9]». Видимо, вкралась опечатка, потому что после слов «За дальнейшее наполнение» исчезли слова «нашего с Таганом таза…». Тагану показать побоялся.

Одно время Альбина прочила Старшого в главы посёлка—«мужик крепкий, ответственный… Что ж вы в тени-то сидите?» Жена говорила: «Иди, чо ты муляешься?! Всё вверху решается. Э-э-э… бродень латанный. Так и будешь последний воз в обозе. Всё без тебя поделят, пока ты тут с псарней жмёшься, кого взять, кого дома оставить».

Альбине с Русланом Старшой и сдал немногочисленных своих соболей и получил аванс—остальное ожидалось после апрельского аукциона, как раз во время завозки в тайгу. Но Альбина «вошла в положение, тем более травма», «мы же люди», и ссудила Старшому на все затраты, включая выкуп участка, и даже дала свежий бензин на заброску, вычтя из суммы. Возвращать предстояло следующей зимой «по результатам промысла».

Удивляет неестественность, дурная лёгкость с которой липнет к недалёким собакам и людям всё расхожее и наносимое ветром. Будто чуют лакомость ветерка, грозящего прибавкой… Вроде вещь незначительная, дрянная и чуждая, но становится вдруг темой для упорного внедрения. Высшей воли нет поставить заслон, и на то и расчёт, что по занятости и бездумию попустит народ.

— Дело в том, что животные такие же члены общества, как мы с вами…—Пока мы сами не поймём, ничего не будет. И надо что мы—Иванов, Петров, Краснопеев—поняли… С себя начните. Заходите, заходите, не стесняйтесь… Это всех касается. С себя начинаем. Собака—это личность, а не частная собственность… Надо осознать равноценность… так, где очки?.. главных потребностей людей и собак, например, все мы любим вкусно поись и культурно отдохнуть… Поэтому—слушайте вот, нашла—равноценность в потребностях животных и людей… Потребность в свободе и праве на благосостояние… И я вам скажу—в цивилизованный странах давным-давно введён запрет на купирование ушей и хвостов… Вы зря смеётесь…

Я вдруг подумал: а почему Старшой всё на снегоходе да на снегоходе? Травматический радикулит… Из-за Ерархической… На ла́баз полез и хряпнулся.

Великое дело—лестница. Человек доломал свою. А наша-то целенькая стоит. Так-то, Альбинушка…

С новостями становилось всё хуже. Кексу было не с лапы. Перелезание вольеры выглядело неестественно, и остальные собаки понимали, что Кекс не идиот—одно дело его прижучили на пробежке, а другое—сам лезет в объятья.

Не знаю, в каком новостном голодании (во завернул!) мы бы все оказались, если в один прекрасный вечер не подъехал бы Курумкан с самогонкой и не завязалась посиделка.

Видимо, Старшой не всё мог говорить при Валентине, и вытащил Курумкана «покормить собак». Они зашли к нам в вольер. Было уже темно, только неоновый фонарь на столбе освещал заснеженный двор. У Старших топилась печка, и с прозрачной лёгкостью пятнисто неслись по освещённому снегу тени от дыма.

Старшой принёс кастрюльку и разложил корм деревянной лопаткой в помятые наши чашки. Курумкан был раздосадован происходящим, говорил громко и сбивчиво:

— Ты чо не сказал, что деньги нужны? Чо эта Альбинка! Объяснил бы чо-ково. Тоже друг. Я от своей узнаю, что ты встрял. Альбинка эта… Чо Альбинка

……

9. Действующий закон о благосостоянии и здравоохранении животных 1992 г.

эта! Свином клет… тьфу, клином свет на этой Альбинке?

Я не сдержался и хрюкнул от смеха. Что за «клет» такой? Видимо, собачья кличка. «Клет, ко мне! Свином!»

— Ты ч-о-о?—обернулся на меня Старшой.

— Да кость наверно,—сказал Курумкан.

— Торопится, блин! Ешь давай добром. Давай, Таган, ещё подложу.

— Ну, хороший кобель. Дак короче, чо там вышло-то?

— Да эта Ева… как её… Ева, Архиповна короче, классная, видать, Альбине пожаловалась на меня, ну что Рыжика убрал. Никитка сочинение написал… про воровство им задали.

— Да ты чо!

— Ну! «Папа убрал Рыжика, он ворюга. По капканам пошёл»

— Молодец!

— Ну! Вопшэ хороший парнишка. Ну и короче, та давай звонить, мол, зачем зверюшек обижаете! А я её послал. Ещё и кобылой назвал.

— Держи пять! Нормально.

— Трубку бросил, а кнопку не нажал, видать. Х-хе! Она слышала. Ну и, видать, заело. А Альбинка её поддерживает. Не знай, чо уж у них там. Она же везде лезет. Ну ты в курсе про Вальку. В общем, она мне денег дала под проценты… Завтра приготовит… А тут с совета позвонили, короче, вызывают. На ковёр. Кузьмич сказал, Альбинка как председатель комиссии там… ну по четвероногим… Права животных. Я серьёзно. Кузьмичу это на хрен не надо. Но деваться некуда. Ну вот и выходит. Она, по-моему, специально… Чтоб вот к ней на поклон. Любит.

Курумкан покачал головой:

— Ну да. Некстати… А с другой стороны, кто она такая-то? Пошли её в пень. Я вообще не понимаю, чо ты к нам-то не пришёл, чо бы не дали бы денег? Собрали бы.

— Да это легко сказать… Дали-собрали… Пушнину толком не сдавал никто. Ждут Кузькиных.

— Слушай,—прищурился напряжённо и холодно Курумкан,—а не может она специально так сделать? У ней же Янка за Коршунячьим племяшом, а те на участок целят…

— Да! Да!—с жаром подхватил Старшой.—Как с языка снял! Я тоже подумал! Чтоб Коршунятом отошло. А мне чтоб отлуп дать—эту комиссию придумали.

— Ну да! Знают, что ты им козью рожу устроишь, а она тогда—хрен вам, а не денюжки! Ну!—с гордостью сказал Курумкан.

— Хрен их разберёт,—свернул разговор Старшой.—Лан, пошли.

Я ничего не понял. Едва они ушли, видимо, в их же дверь вырвался Кекс и, пробегая мимо вольера, крикнул:

— Не могу говорить. Обложили. Короче, Шаталиха Старшого в совет вызывает за Рыжика! Представляю, как он её пошлёт! До связи!

8. Вилка с Альбинкой

— Куда он попёрся?—гулко сказал Таган из будки.

— В совет к Альбине.

— Кой совет? Чо он с ней возится? С этой росомахой?

— Да он у неё денег занимает и бензин.

— Да ясно-понятно. Нашёл к кому в кабалу лезти!—Таган вылез из будки, потянулся и метнул снег задними лапами:—у Петровича бы занял или у Курумкана, он нормальный мужик. Чо, не дал бы бензин?

— Да у нас «скандик», он на девяносто пятом пашет,—в тон отвечал я.

— Понабр-р-рал,—раздражённо отвернулся Таган,—теперь возись как жук в навозе… Не моё дело, но я бы эту крякву сразу бы на хрен отправил… пускай пудель свою охраняет. Знаю, какая там у них защита. В городах. Надоел кобель—ондал куда надо, чужой дядя укол всадил, и всё. Усыпил… Хорошенький сон. В тайге сам бы убрал, а тут на другого свалил. Что б за больным не ходить. Вот те и права… Обождеее… Они с людями скоро так же будут. Дойдёт! Чо ты думаешь? Дойдё-ё-ёт! Помяни мой слово. Хе-ге… Сами себя усыплять будут… Так что тут… дорогой мой Серёжа…—и он задумчиво растворил рассуждение в многоточье… А потом вздрогнул, как очнулся:—И эта ещё харза лезет… Сиди вон, пиши закорючки свои… в бумагах… Мешок сечки, мешок гречки… Без тебя не разберёмся… кого казнить, хе-хе, кого миловать… Нее, я сра-а-азу сказал, я как увидел эту Нинель в тулупе… Наноль… ли как ли её.

— На ноль!—прыснул я.

— Сучку-то эту… Яблочко от яблоньки… Не зря говорят: какова сучка такова и хозяйка. Тут ясно всё,—наморщился, вспоминая.—На кудрях-то эта… Щуплая…

— Да оне обе на кудрях. Николь,—подсказал я.

— Ну. Николь…—Таган хрюкнул презрительно и покачал головой.—Сама с хренову душу, а ещё в собаки лезет. Наш Кекс и то больше вешает. Так доведись на улице встретить, только бы вякнула. Николь… А Валькину половину выкупать наа. Наа. А то там такие соседи, что наперво у себя всю фаýну кончат, а потом к нам полезут. После них кака зверь-птица?—произнёс он в одно слово, и я начал представлять себе эту сказочную Зверь-Птицу и как по ней работать, а Таган продолжил:—Баз понастроят, турья нагонят. Вообще житья не будет. Хрен чо живое пролетит. Выкупать наа без булды… Тут я Старшого поддерживаю…—и Таган сменил тон на тягуче-недовольный.—Хотя чо-то последнее время… Не знай. Ково он к имя лезет? Он думат, с имя делить будет всё… Он для йих чуждый.

Всё равно оне не возьмут его. Нами бы занимался… А мы б уж не подвели. Ме-а. Бесполэ-эзно.

Потом ещё раз пронёсся Кекс и сказал, что Старшой «всё выслушал, не вякнул». «— Но участок спас!» — радостно домяукнул Кекс.

Таган сидел-сидел в будке, а потом не выдержал и вылез:

— Ты знаешь, я никогда не лез к нему. Соболя загнал, сохата поставил… Моё дело поставить. А чо там потом Старшой… Куда это мясо девать будет… куда чо уходит… Мне это… знаешь…— отрывисто и с силой говорил Таган. У него, когда он расходился, появлялась такая, что ли, лающая манера, если так можно сказать в собачьем случае.

— Ты думашь, он за на́с запереживал?! — напирал он на меня.— Да ну на… За участок свой — больше ни за чо! Что границы подпёрли с Коршунятами. Он же к ним мостился дела ворочать, а они его в грош не ставят.

— Да я тоже не понимаю,— поддакнул я:— Мы с Баксом (коршунячий пёс) дерёмся, а он с Коршунятами за руку здоровается! Как так?! Ничто не пойму.

— Да я ду-умал… ду-у-умал,— сказал Таган умудрённо,— И всё понял. Понимаешь: для него не мы́ главное! Не мы, а они! Чтоб его за ровню держали! Иначе — его заедат!

9. Сохат

Валентин уехал. Нога у Старшого помаленьку зажила, хотя хромал он ещё сильно. В апреле поехал завозить груз и, зная, как засиделись мы в деревне, взял нас с собой. По дороге Старшой останавливался и терпеливо ждал, пока догоним. Погода стояла — чудо. Днём солнце топило снег, а короткие и звёздные ночи запекали плавленый слой до каменной крепости. Потом вдруг чуток заморочало, нанесло снежок и наст припудрило — снежная подпушь покрыла твёрдую корку. Прозрачный морочок так и висел, оберегая от солнца и даря мягкую дорожку. Дни стояли длинные, полные света и оживающего дыхания тайги. Вечерами за рекой ухала неясыть, а с утра дятел, едва прикоснувшись клювом к сухой и гулкой ёлке, впадал в такую дробную судорогу, что когда строчка-очередь замирала, накатно стояло над тайгой стовёрстное эхо.

На третий день в хребтовой избушке Старшой пилил доски, Таган под шумок куда-то убежал, а я тоже пошёл подышать-прогуляться, пока держит наст. Пила раскатисто отдавалась по лесу, и когда я отдалился, стал слышен далёкий лай Тагана. И лай, и звук пилы, между которыми я оказался на линии, были необыкновенно разлётными и слитыми в ровное эхо. Я понёсся к Тагану и долетел быстро, несмотря на то, что уже припекало, и в ельниках, где наст слабее, он ухал пластами, и приходилось карабкаться.

Когда лай был близко, я увидел сохатиный след. На краю гари у ельника по брюхо в снегу стоял сохат, здоровый бычара, а у его морды, на одном с ней уровне уверенно и с придыханьем работал Таган. Сохат, несмотря на наст, кидался на Тагана, делал могучие выпады передними ногами, обрушивая точёные копыта в те места, где только что стоял Таган. Я подскочил и бросился на подмогу. «С морды работай!» — крикнул Таган. Мы бегали по верху, и сохачья морда была напротив наших: это поражало, будоражило и хотелось впиться в морду. Сохат всё понимал и медленно сдвигал поле боя с края гари в ельник, зная, что на открытых местах наст крепче, а в тени слабее. Крутя зверя и уворачиваясь от копыт, мы незаметно оказались в плотном чернолесье. Таган сделал выпад к сохачьей морде, сохат бросился вперёд и, ухнув до полу, оттолкнулся и вновь вознёс копыта. Таган отскочил и провалился в ослабший наст. От сокрушительно-плотного удара по голове он взвизгнул и осел, вмявшись в перемороженный крупитчатый снег… Каждое копыта работало свою полосу, параллельными очередями ложась на Тагана, который всё проседал и мелко тряс головой. В этот момент на меня обрушился моторный рёв, и подлетевший Старшой разрядил обойму карабина и, швырнув его в снег, бросился к Тагану. Закричал: «Тагаша, Тагаша, родной!» — и косо завалясь в рыхлую яму, взял его на руки и попытался потащить пешком за пять вёрст до избушки. И провалился, заковылял ногой, рухнул с Таганом, лицом в его лицо, в его лоб, мягко и кроваво ходящий на шкурке, в проломленный середовой шов, который так любил гладить, в глаза, в кровь и шерсть. И хрипло в рык зарыдал, трясясь и лупя в наст кулаком.

Таган ещё дышал. Старшой снял куртку, постелил её в нарточку, положил в него Тагана, который то открывал, то закрывал глаза и часто-часто вздрагивал веками. Аккуратно довезя до зимовья́, Старшой занёс любимую собаку и положил на нары на шкуру. Я был рядом. Таган лежал на боку, и его передняя верхняя лапа, сложенная уголком, тоже вздрагивала… Трудовая лапа с чёрным шрамом по седому ворсу, с тёмно-серыми шершавыми подушками, с рыжеватой ржавой шерстью меж ними. Таган вдруг дробно застучал зубами, вытянул лапы и умер.

Не могу… По людям так не плачут… как по нас… если мы того стоим.

— Харагочи Берегу!

— На связи, Берег,— серо и глухо ответил Старшой.

— Вова, чо не выходишь! — высоко, певуче и гибко говорила Света.— Мы уже эта… волнуемся, може чо с ногой неладно? Нога как?

— Да какая нога?! — вскричал Старшой.— Тагана нет! Сохат стоптал.

— Убежал за сохатыми? Не по́няла! Повтори!

— Убил Тагана сохатый! Всё. Нет Тагана. Погиб! Никитке не говори. Сам скажу. Как по́няла меня, приём! Всё. Завтра домой. К мясу ещё. Не буду больше говорить.

Тихо было в избушке.

Старшой сидел на чурке в пол-оборота к нарам и прислонясь к ним так, что правая рука лежала вдоль нар с краю и касалась Тагана, голову которого он накрыл потной своей рубахой. Тихо и бесполезно лился немеркнущий и недвижный весенний свет в затянутое плёнкой окно.

«Серый, поди к мне»,— вдруг сказал Старшой. Я подошёл и аккуратно лёг рядом, стараясь ни шорохом, ни вдохом не нарушить неистовой тишины. Я лежал почти не дыша, вытянув и скрестив передние лапы и положив на них голову. Было немыслимо тихо, как бывает, когда меняются смыслы. Дико было пошевелиться, но казалось, должно стать ещё тише. И даже весенний синеющий свет звучал, мешал найти эту тишину, нарушал таинство. И я закрыл глаза. Сдвинулись планеты в небе, пошатнулись орбиты… не знаю, что стряслось со Вселенной— рука Старшого легла на мою голову.

Мне всегда казалось, что есть и есть *они*, огромные взрослые собаки, в тени которых суждено мне учиться и расти, набираться науки промысловой и жизненной. И я никогда не задумывался, как жилось Тагану, как вообще живётся тем, кто старше и сильнее, и под чьей тенью ты существуешь, ощущая над собой огромность всего того многослойно-бескрайнего, что наполняет жизнь правом на будущее. Конечно, брезжило ощущение, что над головой таких вершинных существ, как Таган, разве только разрежение, космический вакуум… И сейчас, когда монаршей дланью Старшого подняло и вытянуло меня на иную орбиту, озноб этого разрежения я ощутил своей головой. И огромное что-то перешло ко мне от Тагана и означило, что мой черёд настал.

Как-то я слышал разговор: Старшой вспоминал молодость и рассказывал, как ему нравилось ночевать в дороге в незнакомой избе и с какой пожизненной благодарностью после немыслимой усталости, ночи и снега вспоминались такие ночлеги. А потом и к нему под ночь завернул измученный мужичок, перегоняющий за триста вёрст снегоходишко. И Старшой всей плотью памятью ощутил, что значит ночлег, но уже с другой— согревающей, спасающей и утоляющей стороны. Теперь мне стало понятно, о чём говорил Старшой.

И с новой силой я ощутил, что без Старшого не проживу, но и он без меня не сможет. Что есть вещи, в которых он слеп, безрук и безног. И что как это сильно, когда над тобой… разрежение.

А ведь я должен помочь ему. Разве он чует запахи этой земли так, как мы? Земля моя… Разве он слышит, как оживают твои ключи весенней ночью? Как берёза отходит от сна и готовит соковые свои жилы? Как набухают желёзки копалух и глухари чертят крылами кровельно-крепкий наст? Как соболята зачались в соболихах, а под метровым льдом заходил в синей тьме хайрюз с бирюзово-пятнистым плавником…

Как помочь Старшому рассчитаться за участок? Ведь я могу только хорошо искать соболей. Но для этого нужен поздний основной снег. Чтобы для начала лишь маленько выпал, присыпал моховый ковёр и забегало шёлковое воинство парными стежками… И чтоб месяц или полтора не валило. Тогда я всё смогу. Всё.

Хотя и это не даст ничего, если не будет урожая ореха в нашем кедраче— чтобы со всех окрестностей, с гарей и лиственничников собрался там соболь. И чтоб не было в окрестностях мыши, и голубика не уродилась на редколесьях, не сманила соболя. И чтоб сам соболь вывелся, чтоб щенки не помёрзли. И чтоб и птички, и мышки нашлись на прокорм… Тогда я всё сделаю! У меня ж четыре ноги!

Но и этого мало. Всё пропадом канет, если за́морем цену на пушнину не поднимут. И если с мышками-копалушками ещё можно договориться, то тут я бессилен. Разве только с ветрами потолковать, да пред солнышком на колени рухнуть. Невозможно… Непосильно. Но я должен.

Я спал, когда зашёл Старшой, тихо взял тело Тагана, вынес на улицу и положил в гружёную нарту, завернув в брезент, как в знамя. Я вышел тоже и до утра пролежал рядом на снегу.

10.

Синий необыкновенно недвижный свет. Просторное дыхание от самых далёких гор до Батюшки-Анисея. Плоское и огромно-белое поле Енисея до горизонта. Сосредоточенный глубинный звук стекающих в него ручьёв. Запах печного лиственничного дыма, смолистый и сладкий. Рокот поселкового дизеля, слышный только в обострённо-раннюю эту пору. Где-то вверху по Енисею с ноющей оттяжкой стрельнувший лёд. С древней и сказочной первозданностью пропевший петух…

Даль огромно и настойчиво дышала воздушно-мягким воркотком, будто варилось в её огромном котле что-то гулкое и нарастающе-таинственное— на льду напротив посёлка бесстрашно и истово токовал косач, то кланяясь и пробегая, то сидя недвижной и чёрной точкой.

Ранней и светлой этой порой, пока держал наст, Старшой погрузил в коробушку мёртвое и мёрзлое тело Тагана, лом, лопату и медленно поехал вдоль берега в сторону Енисейских яров, где на полётной высоте чёрно обтаяла кромка и можно было предать тело погибшего друга земле и камню, будучи уверенным, что останки не отроет медведь или другой голодающий зверь. Старшой давно скрылся

за вытаявшей каменистой коргóй, но ещё долго разносился по округе грохочащий шорк снегоходных лыж и коробушки и казалось, волокут по насту оглушительное листовое железо — настолько звук двигателя выпал из дали, как лишний и суетный.

Примерно в это же время молодая серая собака выбежала из посёлка и отправилась в тайгу по каменно-крепкой снегоходной дороге, вытаявшей и возвышающейся над просевшим снегом реки.

Дорога поднялась с реки на покосы, и обратясь в лесу в прямоугольную канаву, ушла по распадку и поднялась на таёжный взлобок, где Серый с дорогой расстался и побежал по насту, время от времени останавливаясь, чтобы вслушаться в запахи и звуки, наплывающие крепкими волнами. Тревожно было у Серого на душе, потому что одно дело решить, а другое — исполнить. Хоть Зверь-Птицу какую встретить… Да хоть бурундука, они уже повылазить должны… Но никто не встречался и не с кем было посоветоваться и некого попросить о помощи. Серый выбежал на тундрочку, окружённую ровными сквозными кедриками и увидел на краю тёмное пятно. Это вытаяла высокая кочка. Серый подошёл, лёг на неё, и так терпко запахла она жизнью, оживающей землёй, что загрустил он бесповоротно.

— Ох, не про нас… Не про нас эта радость… Тундрочка, ты тундрочка, такая ты хорошая. Такая красивая, проглядная, столько ягоды можешь дать, стольких накормить, скажи что делать-то. Начать с какой стороны?

И вдруг Тундрочка ответила:

— С правильной ты стороны начал, где кочка вытаяла, где мне тебя слушать лучше. Ты хорошая собака, отзывчивая… Знаем мы твои беды-горести, да только дело у тебя трудное, больно на многих завязанное…

— А откуда вы знаете?

— А кедровки на что?

— Понятно… А мне помочь Старшому надо, иначе беда будет, и с нашим участком, и с нами.

— Да понимаю. Хорошо, Серый… Смотри. Сейчас сюда подойдёт один зверь, он у нас по хозяйственной части. Он хоть и невелик, но дело знает. Тем более только из отпуска. Полóско, можешь подпрыгать сюда?

С сухой наклонной кедринки спрыгул увесистый бурундучина и солидно приблизившись, замер.

— Значит, это вот — Серый… — сказала Тундрочка.

— Как же слыхали… хе-хе…

— Ему надо помочь… Речь идёт о соболе. Ну и… в общем поработай с собакой.

— Я так понимаю, что речь идёт о соболе… э-э-э… на начало двух тысячи восемнадцатого года. Это у нас… так-так-так… пятнадцатый участок… Конечно, помочь поможем… и мышом, и дикоросами. Но вы собака полёта, а я зверёк практический, и мне надо понимать всё конкретно, что, куда и как. И что чем закрывать. А то в прошлом году у нас с голубикой такие накладки из-за пожаров вышли, что на мне до сих пор две тонны висит. А самое главное — тут очень много согласований. Очень. Вы понимаете, что если мы убираем мыша с гарей, то нам надо его куда-то девать. Мы, например, можем его переместить как раз на пятнадцатый участок, чтобы… он, так сказать, приманил соболя. Но мы понимаем, что когда снег оглубеет, соболь его ись начнёт и в капкан не пойдёт. Мыша, в смысле, а не снег. Вы сами охотник. Это всё надо проработать… Но хорошо, задачу вы мне определили… так что будем решать, хотя сразу предупреждаю — мне время понадобится. Ну и вообще… Вы поймите, мы можем добиться высокой урожайности кедра на пятнадцатом участке. Но всё это не сработает, если мы не создадим условий для выкармливания приплода. И я вам назвал только один момент. Так что переговоры, переговоры и переговоры… Вы даже не представляете… на что замахнулись… Тут есть вещи, которые, так сказать, от светил зависят… Тут… подальше положишь, х-хе, поближе возьмёшь. Подальше спросишь, поближе ответят… Или нет… Ближе спросишь… Но не будем, как говорится, растекаться мышками по древу… А я со своей стороны сделаю, всё от меня зависящее в части… — он вдруг раздумал доводить мысль: — И в матчасти…

— А как вас найти?

— Да я сам Вас найду. Ну я пошёл, — обратился он к кочке.

— Да иди, — сказала Тундрочка и обратилась к Серому: — В общем, он сейчас всё обсчитает, а тебе надо ещё кое-с кем потолковать… Я одна тут не решу ничего… А ты сейчас… — Тундрочка сделала паузу. — Покопай под снегом рядом с кочкой.

— Здесь?

— Здесь, здесь.

Серый раскопал, разскрёб настовую корку. За ней пошёл в песок перемороженный снег, который он быстро разгрёб и докопался до подстилки, до жёлто-зелёного кристально проколевшего мха, на котором лежали крупные красные клюквины, промороженные до стеклянности.

— Ну что? Что там?

— Клюковка.

— Теперь очень аккуратно, как ты умеешь, возьми зубами клюквину и…

— Съесть?

— Какое съесть?! Всё бы вам есть… Возьми и… — только не раздави её и не растопи… Выйди на наст и брось её вперёд перед собой. Вот так вот! Всё… Теперь беги.

Серый всё сделал, как велела Тундрочка, кинул вперёд ягоду, и она покатилась по насту, прозрачно-красная с драгоценной мутнинкой. Солнце наливало её светом, она горела изнутри и быстро катилась по алмазно-белому снегу.

Ягодка катилась по лесу, но никто не попадался навстречу, и Серый снова запечалился. Ягода тоже будто подустала и буднично остановилась в снежной ямке. И Серый тоже остановился в недоумении и огляделся вокруг.

Просторный и растрёпанный кедрач был с необыкновенной отчётливостью врезан в слепящий от солнца снег. Вдруг кто-то стукнул костяными палочками. Серый тихо пошёл на стук и замер. Огромный чёрно-сизый глухарь шёл, пальчато растопырив хвост, свесив плоскими вёслами крылья и закинув голову с мохнатой бородой, кровавыми бровями и крупным белым клювом. Двигался он, то убирая, то расправляя хвост, с той потусторонней медленностью, с какой цветки распускаются в древних сказах. Сам хвост казался настолько твёрдым, а сизое перо на спине — настолько гладко-литым, что у Серого перехватило дыхание… Глухарь как-то особенно сильно запрокинул голову и перещёлкнул клювом с гулким и костяным звуком.

— Брат мой Глухарь,— сказал вдруг Серый,— не улетай, я тебя не трону.— И слово «брат» прозвучало с такой надеждой и силой смысла, что Глухарь, вопреки всем разговорам о его глухоте на току, не меняя позы и так же медленно идя, сказал:

— Конечно, не тронешь. Тем более сегодня и день такой… Особенный.

В это время с енисейной стороны раздался и широко прокатился по тайге карабинный выстрел… потом ещё и ещё… всего три, через равные и торжественные промежутки. И белую шапку уронила ёлочка, вздрогнув и скорбно замерев. На какое-то время замер и Глухарь, и Серый, и вся тайга. Потом зашумел в кедрушках ветерок и смял кроны. Ветру было хорошо шуметь в кедровых кистях, в длинных иголках. Чем длинней и гуще были иглы, тем полней и торжественней гуделось ветру, и Серый не мог понять, кто шумит: кедр или ветер, потому что шумели они нераздельно. Глухарь был настолько неподвижен, что Серому показалось, будто всё уже было.

— Хорошее чувство,— негромко сказал Глухарь и снова медленно пошёл, так что Серому пришлось тоже идти рядом. Он никак не мог поймать шаг, приладиться к Глухарю, но помаленьку подстроился.

— Главное, подстроиться…— сказал Глухарь и добавил веско и медленно.— Мы знаем Старшого. И тебя знаем. Ты хорошая собака. Мы тоже не изменяем. Что ты хочешь?

— Да вот мне, чтоб соболь вывелся и выкормился, а это, сам понимаешь,— мышки, птички, это раз. Ну чтобы он собрался в кедрачах на Хорогочах… На правой стороне.

— Хорогочи… Хорошее название[10]. Да… Так что ж?

— Дак… Хотя бы это…

— Что значит «дык» и «хотя бы»? А снег?

— Да тут столько всего. Голова пухнет. Давай с малого начнём.

— Я всё понимаю и про мышек, да и про птичек. Чо да как… И где лиса, и где, тетеревятник, и сколько на них выводков уйдёт… Никуда не денешься… Так что тут можешь на меня рассчитывать. Но остальное… Даже ягода… Не знаю… И не слушай ты этого Полоско… Он на складе орехов всю жизнь проработал… Договора, фактуры… Короче… Сейчас дам тебе перо…

— Так, а писать на чём?

— Писать не надо. Надо бежать, куда оно полетит.

И Глухарь покачал бородатой головой:

— Хорошая собака, но…

— Глупая?

— Неважно. Слышишь верховка[11]. Сейчас отпустит к обеду, а вечером уже плюс будет. Так что тебе успевать надо, не то встрянешь. Старшой потеряет — а у него на тебя сейчас вся надёжа.

Глухарь выронил перо из хвоста, и оно сначала застыло в воздухе параллельно снегу, а потом полетело, покачиваясь, череном вперёд, и Серый побежал. Долго ли коротко он бежал, но вывело его глухариное перо к огромной пустой полусухой лиственни. На высоте человеческого роста дятлы продолбили дыру в срединное дупло, и из него торчал, высунувшись по пояс, очень тёмный и крупный соболина. Скуластое лицо его, сильное и гибкое тело — всё настолько завораживало Серого, что он как окаменел. Соболь всё время двигался, мялся, раскачиваясь наподобие маятника, клонился то вправо, то влево, словно его распирало от сил и от вынужденной неподвижности:

— Здравствуй, Зверина-Соболина.— еле сказал Серый Соболю, а про себя подумал: «— Что же они все такие крупные сегодня? Как на подбор…»

— Ну здравствуй, Серый,— сказал Соболь, мощно качнувись вправо, и тут же ещё мощней качнулся влево.— Здравствуй. Не ожидал?

— Не ожидал. Ну здравствуй,— тоже сказал Серый и тоже немного качнулся вслед за Соболем, и ему стало неловко: «Ещё подумает, что я под него подлаживаюсь».

— Подлаживаться приходится,— сказал Соболь и ещё усилил размашку,— в одной тайге живём. В общем, слушай. Могу я собрать своих на Хорогочах. Могу. Мне свои ясашные сотни чем на капкан положить, лучше уж… под пули послать… Глядишь, и увернутся. Ребята храбрые и подготовленные. Так что соберу живым весом — а уж дальше сам управляйся. Только, чтоб собрать — их ещё

……

10. *Хорогочи* — переводится с эвенкийского как глухариный ток. Река с названием и посёлок есть также в Амурской области.

11. *Верховка* — ветер, дующий с верховьев Енисея. Обычно это юг или юго-запад. Этот ветер несёт тепло. Летом дождь а зимой снег.

выкормить надо. Ладно Глухарь,птица серьёзная, всё сделает… А с мышом как?
— Да Бурундук сказал, что с мышом и дикоросами поможет…
— Да чо этот Бурундук?—Соболь качнулся особенно возмущённо.—Не тот калибр. Ты не понимаешь… Есть бурундуки, а есть… фигуры, над которыми… вообще…—Соболь метнулся дважды.—Вакуум. Мы здесь сколь угодно можем рассуждать… Только что мы видим-то отсюда? Надо идти к тому, кто далеко видит. Я тебе сейчас дам одну штучку, называется коготок…

Серый хотел крикнуть: «—Знаю, знаю! Он покатиться или полетит! А мне за ним!»,—но почему-то сдержался, больно сильно тот раскачивался.
— Держи—сказал Соболь.—Вставь в свой коготь. Снизу. До щелчка. Всё. Отлично.

Не успел Серый понять, почему он не залаял ни на Глухаря, ни на Соболя, как невиданная сила в лапе подхватила его, и он побежал, видя, как сереет небо облачками, и чувствуя талое тепло верховки, и особенно оживающие запахи… Через считанные мгновения увидел Серый впереди сияющий просвет, следы знакомой гусеницы, и вот он уже стоит на Енисейском Угоре возле самой оттаявшей кромки, на которой возвышается серая груда базальтовых окатышей. А впереди даль неоглядная и воздух дрожит и плавится от тёплого ветра. Да вдали на горизонте ломаются и нарождаются миражные слои дальнего мыса, мазки, штрихи, чёрточки—не то озёра с деревьями, не то города неведомые. Подбежал Серый к каменной груде. Лёг рядом и заскулил.
— Серый, Серый,—раздался вдруг из-под ног зычный и густой голос,—слезами горю не поможешь, а как ты Тагана любишь, мы и так знаем. Сами такие.
— Да кто ты?—тихо спросил Серый.
— Я тот, который глядит далеко. Я Енисейный Угор. Да только моей далью можно лишь до мыса дотянуться, а тебе другое нужно…
— Куда же мне залезти?—воскликнул горестно Серый, вскинув голову на мачтовые лиственницы с пупырышками почек,—я же не Соболь и не Глухарь. Где мне на них забраться?!
— Забираться не надо. Спустись с меня.
— Как?
— Так. Вон по распадку, где Старшой камни с Ляминой корги́ возил.
— Батюшко-Угор, а что там над мысом за нагромождение такое, слоями такими ходит, будто на город похоже?
— А это Город Чемдальск. Чем дальше спрос, тем ближе эхо.
— Коленвал какой-то опеть…—сказал Серый.
— Спускайся давай вниз, а то правда…
— Ну спущусь, а дальше-то что?
— А ты сначала спустись. А там поймёшь.

Серый спустился по Старшовской снегоходной дороге. Когда выбежал на паберегу, увидел камень, выпавший из коробушки. Его наполовину втопило в снег весенним солнцем.

Серый подбежал к Енисею и увидел заберегу—первую в этом году и вторую в своей жизни.

Возле изгиба берега зеленел снег и в ямке набралось зеркало бирюзовой водицы. В воде шевелилась букашка. Серый попил водицы и сказал:
— Эх, спасибо…
— Пей, пей… Ты же набегался.

Серый вздрогнул и оглянулся. Голос был со всех сторон, и выходило, что он внутри голоса.
— Ты кто?—спросил он.
— Тот, кто тебя напоил.
— Заберега?
— Хм…—тихо рассмеялся Батюшка-Енисей,—собака ты собака. Я Батюшка-Анисей. Здравствуй, моя.
— Так-так-так…—проговорил Серый и на всякий случай быстро лёг, есть такое собачье падение в клубок,—я полежу, а то… я запутался.
— Я тебе помогу. В чём забота?
— Мне Старшому надо помочь. И Бурундук тут, и Глухарь, и Соболь, ну они все вроде хотят… Ну чтоб на Хорогочах соболь собрался. А вот со снегом как быть-то?
— А чо те снег? Пусть Старшой ловушками работает!
— Ловушками!—горько сказал Серый.—А от меня-то какой тогда прок?!
— Как какой? Ты со всеми договорился, а дальше уж Старшой пусть разбирается.
— Батюшка-Енисей, нельзя мне так! Как ты не поймёшь! Ведь я всё это затеял, чтоб помочь чем могу. Я не по сделкам! Я соболя ищу!
— Серый ты Серый… Так договориться не каждый делец сможет… Ладно. Что у тебя там? Снег?
— Снег, Батюшка. И ещё… страшно сказать…
— Можешь не говорить. И так знаю. Санкт-Петербуржский пушной аукцион.
— Он, Батюшка.
— Слушай меня внимательно, Серая Собака. Что я могу? Я могу попозже встать, пораньше пойти. Понятно, воды много, по осени остывает, тепло держит… Но это всё, как сказать… подогрев местного значения. А снег—медленно сказал Енисей,—это уже общее круговращение возду́хов. Тут как солнышко ходить будет—так старые люди говорят… А ещё и тёплые весна-лето нужны… Погоди, я сейчас лопну коло Рябого камня, а то поддавлят. Не пугайся.

Раздался раскатистый хлопок треснувшего льда. Ветер продолжал дуть с устойчивой силой, и по Енисею пятнисто неслись облачные тени.
— Эт, хорошо-о-о… Дак вот, тут уже дела космические… Тут надо спрашивать у того, кто к небу поближе. А это Главный Саянский Хребет.

— Ой-ёй-ёй! — заплакал Серый, — не добежать никогда…
— Я сам спрошу.
— Дак это ж далеко!
— Серый ты Серый, — сказал Батюшка-Енисей и попросил Верховку погладить Серого, — для меня это недалеко.
— Почему? — спросил Серый.
— Дак… лежу я тут.
— Ой-ёй-ёй… — сказал Серый, — у меня не получается понять…
— Ничего, ничего. Я лежу. И ты полежи… И знай, что минуты не пройдёт, как Саяны услышат мою просьбу. Считай до шестидесяти.
— Кого?
— Да никого… Никого… Всё. Всё, моя… Уже шевелят ледниками. И уже отвечают.
— Что? Что отвечают?
— А отвечают, что имя́ до Солнышка так же вы́соко, как и мне, бескрайнему…

Серый уже даже не скулил, а просто лежал, подставив морду, и тёплая Верховка матерински оглаживала его голову, трепала острые и чуткие уши, шептала: «Не печалься, главное, верить… и всё получится…»
— Серый, — вдруг сказал Енисей грозным и дрогнувшим голосом.
— Да, — встрепенулся Серый.
— Видишь ту торосинку на са-а-амой серёдке, — спросил Батюшка-Енисей, — беги и возле неё остановись.

Серый ничего не спрашивал, а добежал до торосинки, оказавшейся огромной грядой сине-зелёных торосов и остановился. Облако, накрывающее полреки, вдруг отошло, и снег залило таким ослепительным светом, что Серый зажмурил глаза:
— А вот и я́ тебя вижу. Здравствуй, Серый, — раздался ласковый голос.
— Здравствуй, а ты кто? А то я глаз не могу открыть. Солнце так лупит.
— А ты не смотри на меня, или… спрячься под наклонную торосину и увидишь…

Серый заполз под наклонную торосину и увидел над собой синий свет Солнца, прошедший сквозь Енисейский лёд.
— Ты мне что-то сказать хотел? — спросило Солнце.
— Да, я столько уже сегодня сказал, что… я… может… я полежу чуток…
— Ты просто убегался, Серый. Слушай, что я скажу. Я могу сделать тёплую весну, могу тёплое лето. Могу задержать главный снег и до конца ноября держать порошу в треть лапы. Могу модницам приморозить гузки так, что они в очередь станут за собольими шубами…
— Ах… — только и ахнул Серый. — Правда?
— Правда.
— А почему ты мне помогаешь?
— Я пока не помогаю… Но сейчас поймёшь. Только ответь на один вопрос.
— Какой?
— Почему ты сразу меня не попросил?
— Как-то не решился… Я вот подумал, если Бурундук такую козу-капусту мне развёл, то куда уж мне к Солнцу-то лезти…
— Милая ты собака. Вот ты сам на всё и ответил. Ты всё правильно сделал. С бурундучка начал и всех выслушал, и всё выполнил… И знаешь, что? Из ягодки, которую ты не прокусил и не растопил, — я тебе тундру ягоды на Хорогочи насыплю, из пёрышка, за которым ты бежал, — глухариных выводков целую тайгу подведу, а из коготка, который ты на могилу Тагана положил, — полные Хорогочи соболя пригоню.
— А…
— Но ничего не будет без… Знаешь без кого?
— Без кого?
— Серая ты собака… Скажу я тебе. Всё будет зависеть от нескольких… единственных… слов.
— Что я должен сказать?
— Не ты должен.
— А кто?
— Человек один…
— Этот человек Старшой?
— Он самый.
— Что он должен сказать? — замученно спросил Серый.
— Он должен помолиться о вашей Собачьей доле, — сказало Солнышко.
— Как же ему объяснить?
— А это уж не твоя забота.

Если прав Серый, и есть бессмертная душа у картин, то одну из самых дорогих я вижу так.

Избушка на Хорогочах, с баней и ла́базом. Вечер. Горящий костёр. В костре, обложенном камнями, стоят на ребро три большие плоские базальтины. На них таз, в котором побулькивает разваренная сечка с щукой. У костра лежат Рыжик с Серым и пошевеливают хвостами. На чурке сидит Старшой, в его ногах Таган.

Снег падает медленно и тихо на засыпающую землю. Шипит на красно освещённых камнях. Одной рукой Старшой чешет выпуклый и тёплый шов на голове Тагана, а другой мешает Собачье.

Ты увидел, Серый?
Ещё раз.
Горит костёр
Падает снег.

И лежите: ты, Рыжий и Таган.
И Старшой вечно варит вам Собачье.
Ведь ты так хотел?